

## **Российская провинция и новый мировой порядок: культурные горизонты**

Поиск некоего пространства, которое занимает провинциальная Россия в современном мировом порядке — проблема невероятно широкая и многогранная. Она может быть проанализирована в самых разных направлениях: экономическом, социально-политическом, историческом, культурологическом и т. д. В фокусе этой статьи находятся лишь те идеи, которые связаны с осмыслением и интерпретацией основных векторов поиска места России по отношению к Западу, традиций их определения в современной академической литературе, и возможность их применения к пониманию конкретных социальных феноменов современной России. Следует оговориться, что понятие "Запад" употребляется в качестве некоего социально значимого символа, означающего "цивилизованную не-Россию"; контекст этого понятия будет рассмотрен в пункте 4 настоящей статьи.

Несмотря на то, что академическая литература, прямо обращенная к теме включения российской провинции в мировое социокультурное пространство, практически отсутствует, существует ряд исследований и теорий, прямо или косвенно включающих эту проблему в поле своего внимания. Среди них: а) теория "американизации", "вестернизации" современных обществ (Ю.Козловски, А.Кара-Мурза, Д.Фурман, Э.Соловьев)<sup>1</sup>; б) концепции, связанные со спецификой усвоения образов и образцов Запада разными поколениями, национальными и культурными группами (Ю.Левада, С.Чугров)<sup>2</sup>; в) концепции, соединяющие теорию постмодернизма и проблемы поиска места той или иной культуры в мировом пространстве (И.Ильинский, А.Мейер, И.Кравченко, А.Вишневский, А.Панарин, Б.Ерасов)<sup>3</sup>; г) исследования, рассматривающие место и роль России в мировом пространстве в исторической перспективе (В.Шестаков, Н.Зарубина)<sup>4</sup>.

Излагаемые в данной статье идеи представляют собой начало нового совместного исследовательского проекта "Образ Запада глаза-

ми провинциальной российской молодежи", к реализации которого приступил Научно-исследовательский центр "Регион" (Ульяновск, Россия) и Центр Русских и Восточно-Европейских исследований (Бирмингемский университет, Великобритания). Концептуальные предпосылки программы исследования явно выходят за рамки обычного социологического описания и имеют не только прикладное, но и самостоятельное теоретическое значение. Это убедило нас посвятить проблеме места провинциальной России в новом мировом порядке специальную статью. Цель ее — не ответ на вопросы, а пока лишь обозначение наиболее актуальных проблем и расстановка наиболее значимых акцентов данного исследовательского поля.

### *1. Россия и новый мировой порядок*

В биполярной социально-политической системе послевоенного периода Россия имела четко определенную позицию, отождествляясь в сознании людей с "символом коммунизма". Развал так называемого "коммунистического блока" и последовавшие за этим события в мире охарактеризовали собой изменения, касающиеся основ развития и взаимодействия мировых систем и приведшие к формированию некого "нового мирового порядка".

С этого момента положение России в мировом пространстве, ее отношения с государствами различных социально-политических ориентации претерпевают серьезные изменения. Современность — это время глубочайшей социально-культурной трансформации России, период ее глобального перемещения в мировом пространстве. Однако, место России в мировой системе пока не определено. Проблема, однако, заключается не только в этом, но и в том, на основании каких принципов будет строить Россия взаимоотношения со своим окружением. В процессе непрерывного информационного взаимодействия постепенно начинают преодолеваться физические, видимые границы между странами, что, однако, не мешает возведению новых — уже социокультурных и психологических границ и барьеров. Подобные барьеры в ближайшем будущем могут препятствовать установлению реального равенства между Россией и западными странами, становлению сбалансированных культурных взаимоотношений, которые не походили бы ни на экспансию, ни на интервенцию.

Информационный обмен, становясь все более и более интенсивным, приводит к культурному взаимодействию между странами, в результате чего происходит трансляция, перенос образов и ценностей одной культуры в другую. Однако, интенсивность этих "переносов" не одинакова. Очевидно, что с информационной, технической и технологической точек зрения, а также с точки зрения способности к распространению (копированию и тиражированию, рекламе и продвижению), западное культурное производство и его продукция (и особенно американская) обладают намного большими возможностями, а значит и интенсивностью воздействия; они в большей степени, чем любые другие, ориентированы на массовое потребление. Американская система культурного производства и воспроизводства на сегодняшний момент является одной из сильнейших в мире. В этой ситуации говорить о культурном взаимном обмене и взаимодействии не приходится: Россия и западные страны (Америка, в частности) в современном культурном и информационном обмене находятся не на равных стартовых позициях. В данном контексте скорее следует говорить не о культурном взаимодействии, а о культурном воздействии Запада на Россию.

Таким образом, несбалансированность информационного и культурного обмена, различия в стартовых культурно-социальных позициях у новых поколений в разных странах — все это приводит к неравноправности культур в устанавливаемом "новом мировом порядке". Эта проблема затрагивает не только Россию — точно так же от "американизации" страдают Франция, Великобритания, другие европейские страны. В США выработана мощная индустрия культурного производства, очень четко улавливающая потребности новых поколений, чутко реагируя на малейшие изменения потребительского поведения подростков, на возникновение новых возможных стилей жизни и молодежных субкультур. Бесспорно, что равной культурной индустрии, которая могла бы ей противостоять, на сегодняшний момент просто не существует.

В результате подобного воздействия целая лавина западных культурных продуктов обрушилась сегодня на российский рынок. Эта продукция часто оказывается не адаптированной к русскому культурному контексту, что порождает либо желание сплошного переноса и копирования (без всякой необходимой цензуры и критики), либо

стремление абсолютного противостояния этим образцам и их полное неприятие.

Существовали и продолжают существовать социальные теории, сторонники которых оценивают процесс культурного воздействия Запада на Россию как "захват Западом культурного и духовного пространства", как "попытку путем информационного блицкрига "охмурить" народ, победить его путем внедрения в сознание новых поколений западных духовных и моральных ценностей". Этот процесс обычно представляется как целенаправленная выработка определенных социальных ценностей, идеологием и мифов для формирования выгодных для Запада стереотипов экономического, политического и социального мышления и поведения.

Хаотичность происходящих процессов нередко осмысливается и "как крупномасштабная инверсия, столь характерная для динамики российской цивилизации, в ходе которой происходит тотальная смена типов социокультурного устройства, значений и ценностей, ведущая к разрушению достояния, накопленного за предшествующий период. Разрушение выражается и в том, что биосоциальные компоненты западного общества получают возможность облегченного проникновения в ослабленную структуру российского общества и стимулируют в нем встречную биосоциальную реакцию. Возникает широкий "синтез Запада и Востока" в виде демонстрационного потребления, массовой деградации, коррупции, этнических конфликтов, мафиозных структур, девиантного поведения"<sup>5</sup>.

Другая точка зрения, сложившаяся при изучении схожих проблем и процессов, акцентирует внимание на полном отражении и неприятии российским сознанием элементов массовой американской культуры. "Постоянная амбивалентность самого "тела" России, — замечает Э.Ю.Соловьев, — воспроизводит в ее душе глубокое раздвоение в отношении к "внешним" началам. С одной стороны, Запад — источник знания, разума, практических и научных достижений, разумного устройства общества, с другой — иной, чужой и чуждый мир, мир неправильный, мир механистических отношений, кризисов, разлада и источник пагубы"<sup>6</sup>.

Как любые крайности, и тот, и другой путь развития культурного взаимодействия России и западных стран чреват опасными и губительными для России последствиями.

## *2. Место российской провинции в диалоге культур*

Принципиальным и новым, на наш взгляд, является изучение диалога культур между Россией и Западом не вообще, а с точки зрения российской провинции, поскольку понятие "провинция" в контексте российской жизни и российского менталитета занимает особое место и имеет уникальное значение. Если на Западе между культурной жизнью центра и периферии значимых различий нет, то в России они всегда были, есть и будут. Однако, существующие научные данные о процессах влияния западных культурных образцов на сознание российского человека основываются преимущественно на исследованиях культурных ориентации населения в столичных и крупных городах России. Можно предположить, что перенос акцента в анализе с центра России на ее периферию высветит новые нюансы этой проблемы. Данный подход позволит подойти к изучению глобальной проблемы через ее локальное проявление,

С точки зрения общего информационного пространства, возникновение и развитие которого является одним из условий полноценного международного взаимодействия, понятия "периферии" (культурной, информационной и т. д.) и "центра" становятся условными и относительными.

В рамках постмодернистской теории говорить о существовании центральной, идеологически поддерживаемой идеи вряд ли возможно — таким образом и на теоретическом уровне понятие "центр" начинает подвергаться сомнению. При изучении России и определении ее нового места отечественные ученые постоянно подчеркивают ее "особенности" и "отличия" от западных стран и часто в результате этого сводят советско-российский социальный опыт к условиям существования России как страны "третьего мира", при этом отправным пунктом анализа практически всегда является мера "отсталости" России от Запада. Новейшие же западные исследования в полном согласии с постмодернистским подходом описывают советскую и постсоветскую модели как "ненаправленные". Они полагают, что при попытке культурного измерения России с помощью понятия Запада как "образа будущего" мы вновь приходим к определению места России в мировом пространстве как периферии, а Запада как центра. Сразу же возникает проблема "куда идет Россия, в каком направлении"? То есть

мы вносим в этот мир определенные векторы, что с точки зрения теорий постмодернизма неприемлемо.

Таким образом, реализуемый нами подход позволит уйти от традиционных и отчасти консервативных рамок.

Появляющиеся прозападные элементы в экономике и культуре России некоторые ученые склонны представлять как переходное состояние. Часть из них рассматривает это состояние как опасное (потеря национальной самобытности, растворение в безликой массовой культуре), другие же видят в этом избавление от российского "варварства" и "дикости". На наш взгляд, подобная социокультурная гибридность — не переход, а норма. И в этом смысле пост-советская Россия — это не исключение, а пример постмодерных условий, поскольку отрицается возможность существования мононациональности, моноидеи, мононаправленности.

### *3. Поиск определений понятий глобализация, модернизация, вестернизация, американизация*

В последние годы в общественных журналах большое количество статей, научных споров и круглых столов посвящено обсуждению проблем современного состояния культурных взаимодействий разных обществ и особенно остро стоящим сегодня проблемам влияния американской культуры на другие страны и, в частности, на Россию.

Все разнообразие точек зрения ведущих отечественных ученых по проблеме возможного и реального культурного взаимодействия России и США можно свести к нескольким.

Так, ряд ученых считает, что процесс американизации Европы и России — объективная закономерность исторического развития. Препятствовать ей — все равно что обрекать свою страну на гибель. Как пишет доктор философских наук Э.Ю.Соловьев, "старый и новый свет — два взаимодополняющих социокультурных региона, которые входят в понятие "Запад". Примерно раз в столетие мы наблюдаем эффект европеизации Америки и эффект американизации Европы. Процессы эти достаточно болезненно переживаются, сопровождаются известными духовными издержками. И тем не менее они ведут к развитию единой экономической, социальной и политической культуры". Он полагает, что "для России пригоден только тот тип американизации

ции, которую в течение трех веков — эпизод за эпизодом — претерпевала Европа. Если Россия отвернется от Запада и изберет какую угодно рафинированную "культурную изоляцию" — она к началу XXI века перестанет существовать не только в значении великой державы, но и в качестве экономически состоятельного государства средних размеров. Вестернизация — это и наша историческая обязанность (нравственный выбор, вытекающий из раскаяния в тоталитаризме), и уже совершающийся стихийно объективный процесс, который, можно надеяться, сегодня стал необратимым"<sup>7</sup>.

Существуют теории, которые видят за культурным влиянием Запада на Россию ярко выраженные властные претензии капитала, и прежде всего американского, на завоевание нашего экономического и культурного рынка. Некоторые авторы усматривают в происходящих процессах глобализации политику ряда западных государств, имеющую вполне определенные цели — культурный "захват" и "подчинение" России.

Действительно, новый вид глобализации, связанный с новыми формами глобальной массовой культуры, пересекает все возможные социально-культурные границы невероятно быстро. Речь идет о фильмах, музыкальных клипах, массовой рекламе. Наибольшее влияние на рынке производства и распространения массовых культурных продуктов имеет американская индустрия. Э.Гидденс, например, заметил, что доля американских фильмов составляет 40% всех фильмов, показываемых в Великобритании, в Таиланде эта цифра достигает 90%. Если говорить о России, то в 1985 г. 74% показываемых фильмов были советскими, и лишь 3% — американскими. В 1994 г. это соотношение стало 14% к 60%. "Правительства многих стран обеспечивают субсидирование собственных кинокомпаний, но ни одна страна не может конкурировать со Штатами по экспорту фильмов. 9 из 10 крупнейших рекламных компаний в мире — североамериканские. Половина лучших агентств в Канаде, Западной Германии, Франции, Британии и Австралии — американские или принадлежат американским компаниям"<sup>8</sup>.

Многие отечественные ученые крайне обеспокоены сложившейся расстановкой сил на мировой культурной арене, считая, что война идеологий, которая несколько десятилетий длилась между Востоком и Западом, СССР и США, сменилась войной культур, войной цивилиза-

ций, в которой западная цивилизация, считающая себя самой передовой в мире, стремится поглотить российскую цивилизацию.

На наш взгляд, социально-культурная реальность конца XX века намного сложнее, комплексное, чем простой эквивалент "американизации". Следует четко разграничивать на теоретическом уровне понятия "глобализация", "модернизация", "вестернизация", "американизация".

"Глобализация" как процесс превращения национальных ценностей (не только американских или западных) в мировые и общезначимые — понятие, имеющее наиболее широкий объем. "Модернизация" охватывает любые процессы поздней современности, ее появление связано со сложностью нахождения смыслового эквивалента английской "modernity". "Вестернизация" и "американизация" — понятия однопорядковые, например, с "латиноамериканизацией" и "индианизацией", особенно с точки зрения развития современных молодежных субкультур. В чистом виде об американизации можно говорить лишь в отношении популярной культуры. Представляется, однако, что с точки зрения российской провинции процесс американизации является ведущим и включает в себя все остальные понятия (и глобализацию, и вестернизацию). Так, например, по некоторым результатам пилотажного исследования, часто под "образом Запада" провинциальные школьники понимают именно Америку, и понятия "Запад", "цивилизация", "современная культура" оказываются эквивалентом понятия "Америка".

Вернемся к понятию "модернизация". Этот процесс невероятно многосторонен и драматичен. Модернизация — это не просто развитие, а его специфический тип, при котором осуществляется переход от традиционного к современному обществу. Так, например, В.Г.Федотова отмечает, что "представление о прогрессе как поступательном развитии ориентировало модернизирующиеся страны на "догоняющую" модель развития. Догонять развитые (современные) общества — вот цель, которая стояла и перед Россией на всех этапах ее модернизации — в период реформ Петра I, Александра II, Петра Столыпина, во время большевистской модернизации и в настоящее время...", "частным результатом догоняющей модернизации является потеря страной своей традиционной культуры без обретения новой, современной". И дальше: "Догоняющая стратегия предполагает, что



США и страны Западной Европы остаются неизменными в своем развитии, "ожидающими", так сказать, отставших соседей. Однако весь Западный мир находится ныне в радикальной трансформации. По А.Тоффлеру, она состоит в переходе от индустриальной цивилизации к постиндустриальной. Согласно Дж.Несбиту, это переход к информационному обществу. Многие характеризуют его как переход к постсовременному обществу...", "изменения, которые происходят и в которых нуждается мир, столь серьезны, что возможна концепция о новом термине — "постмодернизации"<sup>10</sup>.

Анализируя эту проблему, Н.Н.Зарубина отмечает, что "главной идеей, смыслом и целью модернизации является не рост экономики и благосостояния сам по себе, а поиск своего места в "цивилизованном мире", поднятие национального престижа, самореализация нации"<sup>11</sup>. Тем самым модернизация — далеко не направленный "от прошлого к будущему", "от низшего к высшему", "от левого к правому", а многоуровневый процесс. Можно согласиться с И.И.Кравченко, что сама идея модернизации постоянно "модернизируется"; находясь вне политики, не прибегая к принудительным и тем более насильственным действиям, она вряд ли способна кого-то отпугнуть. "Модернизация не является экспансией более развитых обществ, Это органический процесс выравнивания неравномерно развивающегося мира, реорганизация прежней мировой системы в новый, более однородный и по возможности более справедливый мировой порядок — не только экономический, но и политический, культурный, моральный"<sup>12</sup>.

Существует, однако, и точка зрения, согласно которой модернизация все же имеет некий вектор, и направление этому вектору задается именно Западом, то есть субъекты модернизации неравноправны.

Таким образом. все эти понятия: "глобализация", "модернизация", "вестернизация", "американизация" — должны быть конкретизированы и уточнены применительно к культурным процессам российской провинции. Может оказаться, что подобный анализ внесет новые оттенки в их разграничение.

#### *4. Понятие "Запад" в контексте нового мирового пространства*

Понятие "Запад" является ключевым для описания смыслового пространства "нового мирового порядка". Поэтому, прежде чем гово-

речь о влиянии западных культурных образцов на провинциальное российское сознание, следует отметить специфичные историко-культурные корни самого понятия "Запад" в контексте российского менталитета.

Первоначально категория "Запад" определялась преимущественно через географический фактор и помогала географическому самоопределению России. Со временем это понятие претерпело глубочайшие изменения, стало скорее символом и категорией качественной оценки, чем определением географического местоположения.

Россия исторически искала свое место в мире и, по мнению некоторых ученых, через оппозицию "Западу" традиционно занималась собственным самоопределением. Как отмечает Ю.А.Левада, по отношению к "Востоку" или, скажем, "Югу" проблема культурного размежевания просто не ставилась, поскольку здесь геополитические и религиозно-политические различия были настолько велики, что казались самоочевидными, а доказательства культурных различий были лишними. Размежевываться нужно лишь с тем, что таит в себе опасность слияния с чужим, чуждым и даже враждебным. Именно поэтому Россия определяет себя прежде всего по отношению к западным европейским странам, противопоставляя себя им, или, наоборот, ориентируясь на них и копируя их методы и стили управления. Эти сложные отношения и определяли формирующиеся в России представления о западных странах и отношении к ним.

Известны три типа или модуса исторического существования парадигмы противостояния: экспансия, изоляция и модернизация. Прямой связи с временной последовательностью они не имеют, могут существовать параллельно, но в каждый исторический период можно обнаружить доминирование определенного модуса.

**ЭКСПАНСИЯ** — это стремление к максимальному расширению "своей" структуры ценностей. Комплекс неполноценности вытесняется комплексом господства и величия, барьер представляется проницаемым преимущественно в сторону поверженного "Запада" и т. д. В российской и советско-российской истории периоды доминирования модуса экспансии были сравнительно короткими.

Неудача экспансионизма (а все его всплески кончались неудачами) стимулировала утверждение модуса **ИЗОЛЯЦИИ**. Для него характерны доминирование комплекса неполноценности, повышенная

оценка барьера, распространение самоуничжительных защитных формул (типа "совка"), а также установок на "самобытность" развития.

МОДЕРНИЗАЦИЯ, как распространение универсальных образцов современной цивилизации, никогда не доминировала и не признавалась таковой в российско-советском сознании. Иногда она допускалась в дозированных количествах на втором плане, как нечто второстепенное, как некое побочное следствие самоутверждения. "Россия нуждалась в оружии "Запада" для противостояния этому "Западу", и ее власти всегда стремились пресечь распространение связанных с этим оружием вредных для них влияний"<sup>13</sup>.

Еще одна отличительная черта понятия "Запад" — это его глубокая идеологизация. Этот процесс уходит своими корнями в советский период, когда на государственном, официальном уровне "Запад" означал идеологического врага и агрессора и одновременно становился на уровне массового общественного мнения неким запретным, и, следовательно, желанным "плодом".

В настоящее время в массовом сознании нет однозначного отношения к понятию "западные страны". В качестве примера можно сослаться на исследование, проведенное Научно-исследовательским центром "Регион" в начале 1995 года среди старшеклассников города Ульяновска. На вопрос о том, какие страны входят в понятие "Запад", не только не было получено однозначного ответа, но разброс во мнениях был настолько велик, что они трудно поддаются классификации. Так, к Западу были отнесены не только Великобритания, Франция или Германия, но и Америка, и даже Япония.

Однако конфронтация с капиталистическим миром долгие годы была сконцентрирована на США, и советские идеологи противопоставляли Америку как "символ капитализма" не только социализму и всему развивающемуся миру, но отчасти и Европе. В некоторой степени это может быть результатом навязанной Америке роли в попытке советской системы "догнать и обогнать". Сведение всего капиталистического мира к одной стране (США) может быть также результатом общей тенденции в советский период к упрощению социальной реальности.

Как говорит Ю.А.Левада, мифология Америки и Запада действовала как вид перевернутого изображения своего собственного существования ("совковости"), в то время как образ врага был отраже-

нием того, чего не хватало или не допускалось у себя. Интерес к Западу в этих рамках — напуганный или завистливый, это в любом случае интерес к себе, отражение собственных тревог или надежд. "Первопричина в том, что сам Образ Запада сконструирован и продолжает действовать как перевернутая модель собственного советско-российского существования. Это искаженный, перевернутый образ человека и общества в России. "Запад" как категория культурного кода имеет, по существу, довольно мало общего с реальными атрибутами европейских государств и социальных институтов. В этом специфическом зеркале, в которое смотрится Россия последние два столетия, каждый ее социальный субъект находит воплощение тех признаков, которые он не видит (опасается видеть, не умеет разглядеть, хотел бы видеть • — тут несколько вариантов) у себя "дома",.. "западники" усматривали в образе Запада желанные черты рационального правового либерально-демократического строя, почвенники считали примерно те же самые атрибуты источником зла и разложения"<sup>14</sup>.

Одной из психологических разновидностей зеркальности может быть отрицание через перенесение, проецирование негативных проявлений личности на другого. Как известно, это распространенный способ психологического самоутверждения, преодоления неуверенности и комплекса неполноценности.

Зеркальный "образ Запада" сыграл важную структурообразующую роль в самосознании российского общества. Во-первых, он служил средством защиты от универсализма. Фигурально выражаясь, в то самое "окно в Европу", которое было прорублено боевым топором Петра, оказалось вставленным не прозрачное стекло, а зеркало, охранявшее обитателей российского "дома" от посторонних влияний. Все охранительные, консервативные течения общественной мысли — до-советской, советской (постреволюционной) и постсоветской — стремились (и не без успеха) укрепить "зеркальность" культурного кода своего общества, чтобы воспрепятствовать его изменениям. Разумеется, при таком подходе серьезное объективное изучение реального опыта западноевропейских обществ и институтов было практически исключено.

Во-вторых, и это даже более важно, "образ Запада" служил средством идеологического самоопределения российского общества и человека, которое приобрело особенно большое значение в советских

условиях. Относительная слабость внутренних связей и отсутствие достаточно влиятельных общезначимых символических интегративных механизмов вынудило и вынуждает вновь искать самоопределения через отрицание чуждых и враждебных внешних структур<sup>13</sup>.

Понятие "другого" как "части себя" наиболее очевидно среди интеллигенции и молодежи, для которых Америка стала символом демократии, прогресса, модернизации, потребительства, свободы и удовольствия и таким образом, сама став объектом потребления. Изоляция СССР сделала "миф об Америке" более ощутимым, чем где-либо еще.

В работе "Советский человек и западное общество: проблема альтернативы" Ю.А.Левада задается вопросом о сегодняшних изменениях в парадигме противостояния России и "Запада". Его в первую очередь интересуют происходящие изменения в общественном сознании. Он считает, что проблема в том, насколько и как глубоко повлияли на структуру культурного кода человека социальные потрясения последних лет. Анализируя сегодняшнее общество, он приходит к выводу, что, несмотря на то, что невиданная степень информационной открытости общества, достигнутая в годы перестройки, стала сильнейшим фактором переоценки социальных мифологем, в то же время "можно видеть простым глазом, а тем более взглядом исследователя, что могучий поток социальной и культурной информации часто направляется в руслу, проложенные старыми правилами идеологической игры, а потому не изменяет парадигму социального восприятия"<sup>16</sup>. Ибо информационный прорыв несет обновление лишь тогда, когда трансформируются сами рамки социального восприятия (понимания, интерпретации) информации.

В связи с этим будет интересно изучить уровень молодежного восприятия и потребления глобальной популярной культуры в российской провинции, или более точно — восприятие и/или противодействие (сопротивление) западному культурному производству и существующим культурным образцам. Вероятно, что механизм проекции и идентификации в провинциальном контексте восприятия западных, и прежде всего американских, образцов будет иметь свою специфику. Полезно будет рассмотреть Россию не в ее изоляции, а в качестве конкретного примера воздействия на периферийные культуры более широких процессов, формирующих общество в условиях постмодерна.

На теоретическом уровне эти процессы были описаны Роландом Робертсоном как "глобализация". Он изучал двойные процессы "глобализации" и "локализации", которые некоторое время определялись как главные "маркеры" постмодерного мира.

С целью реализации описанных выше задач необходимо будет объяснить — каким образом эти двойные процессы выражаются в актуальных формах культурного производства и потребления в постсоветской России: происходит ли поглощение периферийной России глобальной популярной культурой или периферия оказывает сопротивление? И если да, то в каких случаях, и каков его механизм?

Эта проблема очень конкретна, поскольку от ее реальных показателей зависит будущее культурное развитие российских провинций, которые во многом будут определять будущее всей России в целом.

### *5. Провинциальная российская молодежь и социокультурный обмен*

В культурное потребление включены все слои населения, но особо важно сфокусироваться на молодежи, потому что именно она является наиболее чувствительной к несбалансированному социально-культурному обмену, а смысл и последствия сдвигов в этих процессах вероятно будут очень существенны и важны для развития в будущем диалога между культурами.

В некотором смысле несбалансированность культурного обмена является результатом того, что молодежь России долгое время была лишена устойчивого и постоянного исторического контекста. Многими учеными отмечается снижение в последние годы критических возможностей российской молодежи в отношении культурных продуктов, текстов и информации, идущих с Запада, — даже в тех случаях, когда эти культурные продукты имеют крайне низкое качество. В настоящее время происходит процесс формирования у молодежи новых ценностей в новом социально-культурном контексте "открытого" общества. Эти ценности отличает самостоятельность, неидеологизированность — несмотря на то, что они формируются под воздействием и даже прессингом западных образцов. Хотелось бы думать, что эти процессы в большей степени имеют позитивное значение не только для общего культурного уровня России в будущем, но и для смыслового культурного изменения в отношениях с Западом, а также успеш-

ного нахождения Россией адекватного ей места в новом мировом сообществе.

*6 Новые акценты в предмете исследования — применение "новых" методов*

Принципиальными в настоящем проекте будут не только новая проблема и акценты в ее изучении, но и использование качественных методов ее исследования, которые помогут не только описать эти процессы и в определенном масштабе представить их видение, но и попытаться понять на сущностном уровне причину выбора молодым человеком именно этого культурного образца или причины противостояния ему. Для изучения этой проблемы предполагается использование таких методов социологического анализа, как глубинное интервью, "фокус-группа", этнографическое наблюдение. Один из пилотажных этапов исследования был связан с проведением "фокус-групп" среди старшеклассников центральной и районной школ города Ульяновска (Россия) и частной и государственной школ города Бирмингема (Великобритания) весной и летом 1995 года на предмет выявления представлений о понятиях "Запад" и "Америка" среди русских и английских школьников и нахождения значимых различий или, наоборот, совпадений в ценностно-культурном определении этих понятий. Анализ полученных в ходе групповых опросов данных показал, что, несмотря на существенные различия в представлениях о США среди школьников разных стран, обнаружилось достаточно большие совпадения в "образе Америки" у старшеклассников школ более высокого образовательного уровня. Так, например, совпадения в оценках обеих сторон американского образования у подростков из "элитных" и периферийных школ г.Ульяновска и г.Бирмингема оказались более значимыми, чем расхождения между оценками этих параметров у российских и английских школьников в целом.

Это уже противоречит тому, что пишут об экспансии как некоем прямом и гомогенном процессе "подавления" российских подростков американской культурной продукцией. Исследование показало, что не существует полного проглатывания и некритичного копирования; большое значение имеют при этом специфические социокультурные стартовые позиции подростков, связанные не столько с географией,

сколько с более глубокими и глобальными изменениями общего информационного пространства.

### *7. Практическое значение исследования проблемы*

Обращение к глубоким культурным изменениям, переживаемым современной Россией, будет иметь очень важное значение на эмпирическом, теоретическом и методологическом уровнях.

На эмпирическом уровне будет получена разнообразная качественная информация об уровне восприимчивости и сопротивления молодежи России "образам Запада", об источниках и механизмах формирования этих образов. Полученные эмпирические данные могут стать основой для развития теоретических споров о происходящих в мире процессах "глобализации" и "локализации". Включение в работу качественных исследовательских методов социального познания сможет внести свою лепту в обогащение методологических приемов российских исследователей, для которых подобные методы стали возможными лишь совсем недавно, поскольку в российской социологии все еще распространено сопротивление применению качественных методов социального познания.

### **Примечания:**

- <sup>1</sup> См.: Козловски Ю. Новый мировой порядок: карнавал без смеха (Американская культура в конце XX века) // Россия и Запад: диалог культур. М., 1994; Мы открываем Америку (о процессе американизации нашего общества): Круглый стол // Искусство кино. 1993. №4. С.3-15.
- <sup>2</sup> См.: Левада Ю.А. Сборник статей по социологии. М., 1993; Чууров С.В. Россия и Запад: метаморфозы восприятия. М., 1993.
- <sup>3</sup> См.: Кравченко И.Н. Модернизация и судьбы сегодняшней России // Модернизация и национальная культура М, 1995. С. 102; Вишневский А.Г. Модернизация России: позади или впереди? // Куда идет Россия?.. Альтернативы общественного развития. М., 1995. С.208, Мы открываем Америку (о процессе американизации нашего общества): Круглый стол // Искусство кино. 1993. №4. С.3-15; Ерасов Б.С. Инверсионный характер российской модернизации // Модернизация и национальная культура. М., 1995. С.39.
- <sup>4</sup> См.: Шестаков В.П. Русское открытие Америки // Россия и Запад: диалог культур. М., 1994. С.74; Зарубина Н.Н. О социокультурной само-



бытности России как предпосылке ее модернизации // Модернизация и национальная культура. М., 1995. С.94.

<sup>5</sup> Модернизация и национальная культура. Материалы теоретического семинара. М., 1995. С.51.

<sup>6</sup> Там же, с.46.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Ценностный мир современной молодежи: на пути к мировой интеграции. По материалам международной научной конференции. М., 1994. С. 10.

<sup>9</sup> Федотова В.Г. Плюсы и минусы модели догоняющей модернизации // Модернизация и национальная культура. Материалы теоретического семинара. М., 1995. С.65-66.

<sup>10</sup> Там же. С.67.

<sup>11</sup> Зарубина Н.Н. О социокультурной самобытности России // Модернизация и национальная культура... С.95.

<sup>12</sup> Кравченко И.И. Модернизация и судьбы сегодняшней России // Модернизация и национальная культура... С. 104.

<sup>13</sup> Ю.Левада. Сборник статей по социологии. М., 1993. С. 192.

<sup>14</sup> Там же. С. 182.

<sup>15</sup> Там же. С. 180.

<sup>16</sup> Там же. С. 188.

*Бовоне Л.*

## **Новые культурные посредники: научное исследование как исходный пункт кросс-культурного обмена\***

Предлагаемое исследование рассматривает феномен культурных посредников в рамках постмодерной (постсовременной) культуры. Я постараюсь показать связь темы своего исследования с общей темой социологической традиции в Италии и объяснить, почему понятие "культурные посредники" все еще не находит достаточной поддержки в итальянских социологических кругах. Среди множества характеристик, используемых при определении постмодерной культуры, я хочу обратить особое внимание на амбивалентность и рефлексивность, в особенности свойственные коммуникационным системам, протагонистами которых являются культурные посредники. Вслед за этим, само понятие культурных посредников я определяю как гипотезу, служащую руководством для полевого исследования. Одним из основных результатов применения откровенно качественной методологии является конструирование типологии стилей коммуникации и, следовательно, типологии посредников коммуникации. Это позволяет поставить ряд вопросов об объеме и пределах понятия "культурные посредники" и о связи последних с культурой высокой-низкой и центральной-периферийной, что также позволяет проблематизировать роль самой социологии как основного проявления постмодерной рефлексивности.

Я использую термин "новые культурные посредники", имея в виду ряд новых или наполненных новым содержанием профессий, играющих ключевую роль в области коммуникации, а именно журналистов, работников рекламы, радио- и телепродюсеров, организаторов туристических программ, модельеров, архитекторов, владельцев художественных галерей и так далее. Предполагается, что все эти профессии являются важными элементами культурного производства, то есть

---

\* Перевод С.А.Ерофеева

являются связующими звеньями в цепи "создание-манипуляция-трансмиссия" в отношении тех продуктов, которые обладают высокой информационной наполненностью или по-преимуществу символической ценностью. Более того, новых культурных посредников можно рассматривать как особую категорию интеллектуалов, которые одновременно являются как выразителями постмодерной культуры, так и ее преимущественными производителями<sup>1</sup>.

## 1. Постсовременность как дескриптивная и толерантная категория

### *1.1 Постсовременность в контексте итальянской социологической традиции*

Понятие постсовременности появилось в нашей науке благодаря хорошо известным работам французского философа Жана-Франсуа Лиотара<sup>2</sup>, выдвинувшего тезис о постмодерне (постсовременности) как "культурном лице постиндустриализма"<sup>3</sup>. Постсовременная культура обладает по преимуществу анти-утопическим характером: пользуясь и поныне будоражащим умы выражением Лиотара, можно сказать, что ее основной чертой является "недоверие к метанарративам"<sup>4</sup>. В этой формуле суммируется как кризис науки, так и связанный с ним, но являющийся более широким феномен отказа от мифа о бесконечном прогрессе. "Метанарративы", или "большие повествования", — это грандиозные историко-философские схемы универсального совершенствования, выработанные культурой Нового времени. Однако темы Прогресса, Разума, Революции и Освобождения ныне не пользуются прежним доверием, что справедливо также в отношении известных идеологических "подпорок" этих тем, а именно, в отношении либерализма и марксизма.

Такое развитие событий должно иметь что-то общее с эволюцией западной социологической мысли, и я еще вернусь к этому в конце настоящего эссе. Тем не менее, не слишком трудно понять, в чем коренится общая непопулярность диагноза постсовременности среди итальянских социологов.

Попытаемся несколько упростить проблему. В послевоенной итальянской социологии наблюдается преобладание двух направлений

— функционализма и марксизма, что в общем и целом соответствует той биполярности, которая в той или иной мере характеризует развитие социологии во всех западных странах<sup>5</sup>. Функционализм, как и все американское, впервые обрел популярность в Италии в период послевоенной реконструкции, долгое время оставаясь основным ориентиром для католических социологов. В то же время марксизм никогда не был маргинальной идеологией в стране, где коммунистическая партия обладала большим влиянием, уступая лишь христианским демократам. При этом марксизм даже выиграл в популярности среди преподавателей и студенчества благодаря "культурному повороту" (cultural turn) семидесятых годов, связанному со студенческими протестами.

В указанный период в силу специфического культурного, экономического и политического контекста итальянские социологи преследовали по преимуществу две цели: 1) перевод большого количества зарубежной социологической литературы; 2) обращение к конкретным социальным проблемам, таким как внутренняя и внешняя миграция, безработица, система школьного образования, условия труда и городской жизни и так далее, с тем чтобы четче их обозначить и, в конце концов, предложить некоторое решение этих проблем. У такого самоограничения итальянской социологии были определенные корни: желание восстановить международные контакты, на двадцать лет прерванные фашизмом, а также дистанцироваться от характерной для первых десятилетий XX века дискуссии между позитивизмом и идеализмом. Однако, основной причиной послужила, конечно же, связь с двумя основными идеологиями, ориентированными на осуществление социальных проектов, а также особая страсть к эмпирическим данным, что свойственно для любого пост-тоталитарного общества. В определенной мере такая особенность итальянской социологии позволила ей пережить всемирный кризис идеологий, внутренний кризис 1980-90-х годов, связанный с деятельностью двух основных партий, и даже кризис общественного и частного финансирования работы социологов. За все эти годы лишь немногие социологи уделяли внимание разработке общей теории и оригинальных концепций. Более интенсивно шла работа в ряде специализированных отраслей, таких как социальная политика, социология семьи, социология образования, социология труда, где сформировались две довольно разные, порой даже противоречивые школы.

Если посмотреть на прошлое итальянской социологии, то можно понять, почему столь распространен скептицизм в отношении понятий типа "постсовременность", которые как бы порывают со всяческими проектами по совершенствованию человеческого общества. Враждебность по отношению к идее постмодерна некоторых итальянских авторов<sup>6</sup> не очень отличается от враждебности к нему со стороны Юргена Хабермаса, который рассматривает постмодерн не только как очевидную неудачу "проекта модерна", но и как намеренное представление в качестве ложных просвещенческих целей вселенского освобождения через рациональный консенсус.

## *1.2, Постсовременность: от понятия к признакам*

Я хотела бы подчеркнуть в понятии постсовременности его чисто описательную ценность, лишенную какой бы то ни было силы научного обоснования. Я считаю, что при этом лучше раскрывается смысл процесса социального изменения, отражаемый в рассматриваемом понятии. Фактически мы обнаруживаем, что, с одной стороны, Бауман<sup>7</sup> и Фезерстоун<sup>8</sup>, много говорящие о постсовременности, и, с другой стороны, Гидденс<sup>9</sup> и даже Хабермас<sup>10</sup>, отвергающие постмодернистский анализ, проявляют примечательную согласованность при рассмотрении эмпирических признаков текущих социальных изменений. К тому же, почти все они сходятся в том, что могут понадобиться некоторые новые термины для отражения перемен в рамках современности (modernity). В данном контексте постсовременность не представляется в качестве всеохватывающей категории. Этот термин скорее похож на попытку описать и суммировать наиболее явные элементы культурного изменения, явные именно в силу своей противопоставленности другим элементам, скорее ассоциирующимся с современностью, нежели составляющим ее сущность.

Одной из характерных черт постсовременности является мирное сосуществование противоположностей, делающее мозаичным стиль жизни, воссоздающее элементы прошлого не в терминах плавильного котла (когда различия исчезают), а в терминах коллажа. Эти черты постсовременности, которые я называю ее признаками, сводятся к следующему.

1. Конец больших модернистских нарративов (Прогресса, Разума и так далее, о чем я уже говорила).

2. Возрастающая роль коммуникации/информации. Данный момент связан с определением постиндустриального общества в качестве общества информационного, характеризуемого таким структурным изменением, которое говорит о конце индустриального общества как общества производителей товаров<sup>11</sup>. Постиндустриальное общество также характеризуется возрастающей экономической ролью информационной системы (включающей компьютеры, телекоммуникации, Интернет и т. д.). Вместе с тем, необходимо уделять большее внимание той активной роли, которую играют субъекты, вовлеченные в современные технологические процессы (я имею в виду как отправителей, так и получателей информации). Таким образом, сегодня невозможно говорить об информации, не принимая во внимание коммуникационные системы<sup>12</sup>, ибо коммуникация воздействует на информацию, модифицирует и кристаллизует ее.

3. Глобализация/фрагментация. Под глобализацией я понимаю растущую взаимозависимость составляющих частей современного мира, взаимозависимость в плане политическом, экономическом, культурном и — в самом общем значении — в коммуникативном<sup>13</sup>. Все это никак не подтверждает развития процесса гомогенизации. Скорее речь идет о более остром восприятии различий в результате релятивизации как социальных систем, так и правил/ценностей, которые обуславливают сосуществование и личную идентичность.

4. Социальная/индивидуальная рефлексивность. Большинство современных теоретиков (как постмодернистов, так и не постмодернистов) указывают на примечательный рост "рефлексивности" (или самосознания) среди населения современных индустриальных обществ<sup>14</sup>. Согласно Гидденсу<sup>15</sup> вся современная социальная жизнь рефлексивна по своему характеру: "Рефлексивность современной социальной жизни заключается в том, что социальные практики постоянно проверяются и реформируются в свете привходящей информации именно об этих практиках. Таким образом их характер существенно изменяется"<sup>15</sup>. Практика письма (writing) усиливает рефлексивный потенциал, а современная, т. е. модернистская вера в разум эту рефлексивность еще более усиливает и легитимирует. Однако, рефлексивность, как и ее источник — информация, в свою очередь приводит к

нестабильности знания. Кризис рациональности неизбежно возникает именно из-за предельной веры в рациональность, как на то указывает Хабермас<sup>16</sup>. Сегодня в данном процессе система коммуникаций играет центральную роль. Система коммуникаций является рефлексивной системой, которая создает и воссоздает нашу культуру, рефлектируя в отношении самой себя, говоря о себе, цитируя себя и изменяя себя. Чем влиятельнее система коммуникации/информации, тем острее рефлексивность социальной жизни, и тем более явным становится ее присутствие в индивидуальном сознании.

5. Двойственность (ambivalence). Каждая эпоха по-своему полна противоречий и характеризуется двойственностью условий человеческого существования, однако наша культура лишь недавно попыталась преодолеть это положение. Поначалу надежды возлагались на Бога, затем на человеческий разум и его планы в отношении жизни и истории. В постсовременную, постмодерную эпоху становится очевидным, что двойственности избежать уже нельзя, и что в силу этой неизбежности саму двойственность существования приходится невольно углублять, наделяя ее логикой в контексте взаимно разделяемого, общего языка. Как пишет З.Бауман<sup>17</sup>, для постсовременного человека жить в условиях двойственности — типично.

## **2. Новые культурные посредники — субъекты постсовременной коммуникации**

Сегодня коммуникационная система выступает в той роли рупора социальной рефлексивности, которая когда-то была свойственна лишь интеллектуалам. Однако сама эта система состоит из интеллектуалов, которые в ее лице находят для себя некую инновационную нишу, создавая новые возможности для выражения социальной рефлексивности.

Согласно Бауману, постсовременность "в большей степени, нежели чем-либо другим, является состоянием ума. Выражаясь более точно, состоянием тех умов, которые привыкли (если это не является результатом принуждения) рефлексировать в отношении самих себя, находиться в поиске своего собственного содержания и отдавать отчет в том, что они находят. То есть она является состоянием умов фило-

софов, социальных мыслителей, художников"<sup>18</sup>. Можно добавить: состоянием ума новых культурных посредников, которые представляют протагонистами постсовременной эпохи в той же степени, в какой буржуазия и рабочий класс были протагонистами эпохи современной.

## 2.1. Определения и гипотеза

Культурных посредников можно определить в качестве профессионалов в области коммуникаций, то есть растущих экономических секторов, являющихся механизмом трансмиссии-манипуляции-конструирования в отношении культурных товаров.

Согласно Бурдьё, новые культурные посредники действуют как "приводной ремень", механизм распространения вкусов, типичных для высших классов, то есть вкусов "хороших". Такое происходит благодаря своеобразному статусу культурных посредников в качестве членов некоей новой мелкой буржуазии, "ответственных за мягкую манипуляцию... в индустриальных компаниях и крупных бюрократиях, производящих культурные тозары, — то есть на радио, на телевидении, в институтах исследования рынка, исследовательских отделах, крупных ежедневных газетах, еженедельных журналах и, прежде всего, в области социальной работы и развлечения"<sup>19</sup>. Я же разделяю тот взгляд, согласно которому культурные товары сами по себе "нейтральны, и что только способы их использования являются социальными, то есть они могут использоваться либо как заборы, либо как мосты"<sup>20</sup>. Очевидна выигрышность центральной позиции культурных посредников в пределах "той самой арены, на которой идет борьба за культуру и на которой культура обретает форму"<sup>21</sup>. Однако я не уверена, что культурных посредников надлежит рассматривать строго в качестве передатчиков логики, основанной на классе, господстве и "мягкой манипуляции", ибо они могут быть способны также и к установлению *связей между классами*. Таким образом, их существование скорее служит использованию информации в разных целях, нежели в качестве заборов или мостов на пути информации.

Здесь обнаруживается аналогия с тем, что Хабермас называет "амбивалентным потенциалом" медиа, утверждая, что "публичные сферы медиа как накладывают иерархию на возможные горизонты коммуникации, так и, в то же самое время, открывают эти горизонты".



"Авторитарный потенциал" медиа, который существует благодаря управляющей ими централизованной структуре, сосуществует с их "эмансипирующим потенциалом". Последнее же связано с тем фактом, что медиа продолжают использовать "обобщенные формы коммуникации... привязанные к контекстам жизненных миров"<sup>22</sup>. Суждение Хабермаса, если считать его применимым к "публичным сферам масс-медиа", может быть точно так же отнесено к субъектам, оперирующим в этих сферах, к тем людям, в которых как бы сходятся авторитарный и эмансипирующий потенциалы.

Ведущей гипотезой настоящего исследования является следующее: новые культурные посредники как типичные выразители постсовременной гибридности являются передатчиками нескольких различных логик и, в первую очередь, являются теми, кто способен (или, по крайней мере, вынужден) поддерживать ситуацию совместимости различных логик и жить в условиях двойственности. Тогда обнаруживается, что их было бы правильнее определять в терминах возникающих (эмерджентных) статусных групп, а не в терминах принадлежности к классу. Статус не подразумевает привязанности к какой-либо конкретной идеологической точке зрения; в классическом смысле этот термин использовался для описания культурных характеристик рассматриваемых субъектов и, в частности, для описания центральных сегментов социальной стратификации. Действительно, используя по крайней мере некоторые элементы анализа, проведенного Бурдьё, можно предположить, что культурные посредники являются статусными группами, обладающими большой величиной скорее *культурного* нежели *экономического* капитала и что они являются "творцами вкусов" благодаря культурному капиталу, приобретенному ими в ходе семейного воспитания и соответствующих социальных контактов — причем такое воспитание и контакты оказываются более существенными, чем формальное образование<sup>23</sup>. Как бы то ни было, образовательная подготовка новых культурных посредников говорит о том, что в большинстве случаев они напоминают категорию интеллектуалов, а иногда (как в случае с некоторыми представителями рекламного дела, модельерами, архитекторами и т. д.) — категорию художников. Еще более точным определением представляется следующее: профессии, характерные для культурных посредников, являются некой инновационной отдушиной для тех, кто либо не верит в себя как художника или ин-

теллектуала в узком смысле этого слова, либо не может заработать этим на жизнь. Возросшее число людей, получающих образовательную подготовку "артиста" или "интеллектуала" в постиндустриальном обществе, неизбежно приводит к тому, что они превращаются в наемных работников или свободных художников. В этой ситуации мир масс-медиа оказывается для них идеальным местом. С другой стороны, академический интеллектuala обычно надеется на получение статуса "опосредующего" интеллектуала, мастера свободной мысли, "pret-a-penser"<sup>24</sup>. Он нацеливает себя не только на то, чтобы продемонстрировать свое знание, но и на то, чтобы придать ему некий эстетический лоск, который в общем и целом будет оценен публикой.

Таким образом, категорию новых культурных посредников можно рассматривать как перекресток, где встречаются различные логики — логика творчества и деловой ориентации, интеллектуального исследования и простого сбора информации, манипуляции и эмансипации... Новые культурные посредники обладают возможностью более широкого мировоззрения и являются привилегированными интерпретаторами взаимосвязей коммуникационного общества.

По-моему, идея культурных посредников гораздо более сложна по сравнению с тем смыслом, который придается этому термину Бурдьё, ибо они *не обязательно* являются посредниками вкусов господствующего класса, что вело бы к ассимиляции этих вкусов низшими классами. Согласно М.Фезерстоуну<sup>25</sup>, они являются проводниками культуры *в целом*, разрабатывающими и перерабатывающими значения, культурные смыслы для всей публики, или, еще точнее, для той огромной звучащей сферы, которая представлена масс-медиа. При этом роль посредника становится столь важной благодаря так называемой "медиазации" современной культуры. Благодаря системе масс-медиа культура кристаллизуется, становится более долговечной и превращается в центрального протагониста истории и рынка<sup>26</sup>.

## *2.2. От личных биографий к типологии сообщений: некоторые эмпирические находки*

В работе, проведенной нами в 1992 году, использовалась качественная методология. Мы собрали 97 обширных биографий тех культурных посредников, которые в момент исследования жили и работа-

ли в пределах метрополии Милана. Задачей указанного эмпирического исследования было определить, что является связующим звеном для различных профессий — таких, как модельеры и менеджеры по производству модной одежды, архитекторы, журналисты, работники рекламных агентств и отделов по связям с общественностью, работники телевидения, владельцы художественных галерей, организаторы туризма, директора культурных центров, региональные чиновники в сфере культуры. На практике мы обнаружили довольно значительное сходство между представителями указанных профессий в том, что касается высокого уровня образовательно-профессиональной подготовки и способности легко переходить от одного рода деятельности в области коммуникаций к другому, а также в том, что касается большого опыта поездок и весьма развитой саморефлексивности. Кроме того, наше исследование позволило рассмотреть отношение указанных субъектов к коммуникации и то, как они оценивают свои профессии и свои конкретные трудовые практики. С целью уточнения своей гипотезы мы установили определенную типологию сообщений или способов коммуницирования. Согласно Белорадскому<sup>27</sup>, на которого, в свою очередь, повлияла типология Хабермаса<sup>28</sup>, сообщения могут быть следующего рода: 1) информация (демонстрация, опровержение и т. д.); 2) обоснования (моральные, универсальные легитимации); 3) опыты (точки зрения других); 4) выражения (определенные разновидности двойственного, открытого, воображаемого общения, то есть общения типично постмодерного). Как отмечает Белорадский, в постсовременном обществе доля "выражений" имеет тенденцию к росту, "колонируя", таким образом, другие типы сообщений. С целью распознавания различных профессиональных коммуникативных стилей мы обратились к рефлексивной практике интервьюируемых, отслеживаемой в их автобиографических высказываниях. Здесь (см. таб. 1) мы обнаружили то, как они представляют себе способы общения (коммуникации) со своими коллегами, такими же культурными посредниками. За основу мы взяли указанную четырехстороннюю типологию, внося небольшие изменения для уточнения характеристик того или иного типа. При этом обнаружилось, что "обоснования" редко использовались в качестве обоснований морального плана, связанных со всеобщими ценностями — только директора культурных центров полагали, что их практика тесно связана с абсолютными идеологиями, и были готовы пока-

зать, каким образом они переводят свои политические (марксистские) или религиозные (католические) пристрастия в область коммуникативного поведения. То же самое можно сказать об "опытах", которые не могут быть запросто конвертированы в профессиональные сообщения: только модельеры оказываются способными сохранять чувство передачи личного опыта, будучи убежденными в объективности передаваемого содержания.

В общем и целом, коммуникативный горизонт рассматриваемых культурных посредников в равной мере сводится к "информации" и "выражениям" (к тому, что можно обозначить как те способы коммуникации, при которых осознается ее двойственность). Можно предположить, что это указывает на существование некоей большой игры, которая ведется на современной арене коммуникации между теми, кто стремится к сохранению особой объективной идентичности информации и теми, кто отдает себе отчет в том, что любая информация опосредована, и даже допускает действие противоречащих логик в своей практике посредничества. К первой категории относятся представители тех профессий, которые весьма тесно связаны с рынком (владельцы художественных галерей, туристические агенты, модельеры и менеджеры по производству модной одежды). Все они рассматривают рыночный успех в качестве основного теста верности своих убеждений. Ко второй категории можно отнести представителей профессий, появившихся недавно или совсем недавно, то есть профессий, использующих наиболее современные техники, способы коммуникации (работники телевидения, рекламные агенты, представители отделов по связям с общественностью). В частности, специалисты по связям с общественностью обладают весьма радужными представлениями о своей социальной роли и о том, что коммуникация является некоей тотальной системой, отвечающей за приведение в соответствие различных частей предприятия (или предприятия и окружающей его среды). Работники телевидения представляются в качестве весьма разношерстной группы даже в рамках нашей небольшой выборки и включают как журналистов, так и редакторов и режиссеров телевизионных программ. В любом случае эти люди разделяют мнение, согласно которому они обладают весьма мощными средствами массового распространения доброкачественных культурных продуктов. Среди тех, кого мы опросили, рекламные агенты представляются наиболее склонными к

рефлексии, будучи профессионалами, которым в наибольшей степени свойственно сомнение в силу понимания ими сугубой амбивалентности их специфического искусства. Они помнят любые критические высказывания и даже цензурные ограничения рекламной деятельности начиная с шестидесятых и семидесятых годов; они прекрасно понимают что двойственность их положения известна всем, и рассматривают этот факт в качестве неизбежного. В ответ они могут лишь заниматься выработкой конкретных коммуникативных стратегий (главным образом, ироничных по характеру) в рамках амбивалентной системы. Журналисты же находятся в середине нашей классификации, поскольку они полагают, что передают "информацию", однако их профессиональные навыки включают также деятельность по "интерпретации" (как в случае с классической газетной журналистикой) или даже по "трансляции" для публики в целом (как в случае с более постмодерной практикой специализированных популярных журналов). Что же касается региональных управленцев, работающих в области культуры, можно лишь отметить свойственное им чувство глубокой фрустрации по причине множественных бюрократических препятствий на пути осуществления их стремления к общению.

Таблица 1:

Посредники	Сообщения
Владельцы художественных галерей	информация
Туристические агенты	информация
Модельеры и менеджеры по производству модной одежды	информация/опыты
Журналисты - в газетах - в популярных специализированных журналах	информация/интерпретация информация/трансляция
Директора культурных центров	обоснования
Региональные культурные работники	нет
Архитекторы	выражения/переговоры
Работники телевидения	многовалентные коммуникации
Рекламные агенты	выражения
Работники отделов по связям с общественностью	глобальные коммуникации

### 3. Заключительные замечания и некоторые открытые вопросы

Наш подход заключался в показе расплывчатости границ между понятиями интеллектуалов и культурных посредников: и те, и другие могут иметь весьма схожую образовательную подготовку или схожие стили культурного потребления; и те, и другие могут схожим образом подходить к производству культуры; и те, и другие могут быть как сильно, так и слабо связанными с массовой коммуникацией-культурой.

Следует заметить, что понятие "массовая культура" становится ныне проблематичным, утрачивает силу прямая идентификация массовой культуры с культурой "низкой" по мере усиления взаимного цитирования так называемых "низкой" и "высокой" культур. Все, что можно сказать о массовой культуре сегодня — это то, что она связана с обширностью своей аудитории и является вместилищем весьма различных культурных продуктов. "Массовая культура" указывает на существование большой аудитории также с точки зрения степени мобильности, достигаемой коммуникацией. В этом смысле массовая коммуникация есть то же самое, что и коммуникация глобальная. Как я уже отмечала, глобальная культура не означает культуры гомогенной, скорее это культура более проблематичная, культура, осознающая существование собственных пределов. Можно уточнить, что под глобальной культурой понимается скорее культура, лишенная центра, нежели культура единоподчиненная".

Привычно полагать, что социология — это дисциплина, в рамках которой осуществляется самосознание общества. Сегодня же социологию было бы правильнее всего рассматривать в качестве лучшего свидетельства рефлексивной ориентации современного общества. Социологическая рефлексивность — это рефлексивность второго уровня<sup>29</sup>, то есть рефлексивный взгляд на рефлексивные практики простых людей, не являющихся специалистами-социологами. В конце концов, социологию можно представить в виде рефлексивной практики в

---

\* Еще одним примером, говорящим о том, что глобальная культура становится во все большей степени культурой циркулярной, культурой круговорота, является история культурного взаимодействия между Западом и Востоком в XX веке.

отношении той формы рефлексивной практики, которая осуществляется системой коммуникаций.

Подводя итоги и задаваясь вопросами в связи с еще предстоящей социологам аналитической деятельностью, следует заметить, что наша дисциплина, как и любая другая форма рефлексивности, в первую очередь склонна к самокритике.

## Примечания:

- <sup>1</sup> См.: Featherstone, M. *Consumer Culture and Postmodernism*, London, SAGE, 1991; Bovone, L. (ed.) *Creare Comunicazione, i Nuovi Intermediary di Cultura a Milano*, Milano, Angeli, 1994,
- <sup>2</sup> См.: Lyotard, J.-F. *The Postmodern Condition*, Manchester, Manchester University Press, 1984
- <sup>3</sup> См. также: Kumar, K. *From Post-Industrial to Postmodern Society*, Blackwell, Oxford, 1995.
- <sup>4</sup> Lyotard, J.-F. *Op. cit.:XXIV*
- <sup>5</sup> См.: Dahrendorf, R. *Essays in the Theory of Society*, London, Routledge and Kegan Paul, 1968, pp. 107-128.
- <sup>6</sup> См., напр.: Ardigo, A. *Per Una Sociologia Oltre il Postmoderno*, Bari, Laterza, 1988.
- <sup>7</sup> См.: Bauman, Z. *Intimations of Postmodernity*, London, Routledge, 1992.
- <sup>8</sup> См.: Featherstone, M. *Op. cit.*
- <sup>9</sup> См.: Giddens, A. *The Consequences of Modernity*, Cambridge, Polity Press, 1990.
- <sup>10</sup> См.: Habermas, J. 'Modernity versus Postmodernity' in *New German Critique*, 22, 1991, pp. 3-14
- <sup>11</sup> Bell, D. *The Coming of Postindustrial Society*, New York, Basic Books, 1973, p. 467
- <sup>12</sup> См.: Schement J.R., Ruben, B.D. *Between Communication and Information*, New Brunswick (USA) and London (UK), Transaction, 1993.
- <sup>13</sup> См.: Robertson, R. *Globalization*, London, Sage, 1992.
- <sup>14</sup> См.: Lash, S., Urry, J. *Economies of Sign and Space*, London, Sage, 1994.
- <sup>15</sup> Giddens, A. *Op. cit.* «f.», p. 38
- <sup>16</sup> См.: Habermas J. *Legitimationsprobleme in Spatkapitalismus*, Frankfurt am M., Suhrkamp, 1973.
- <sup>17</sup> См.: Bauman, Z. *Modernity and Ambivalence*, Cambridge, Polity Press, 1991.
- <sup>18</sup> Bauman, Z. *Intimations of Postmodernity*, London, Routledge, 1992, p. vii
- <sup>19</sup> Bourdieu, P. *La Distinction*, Paris, Editions de minuit, 1979, p. 422
- <sup>20</sup> Douglas, M., Isherwood, B. *The World of Goods*, London, Allen Lane, 1979, p. 12
- <sup>21</sup> *Ibid.*, p. 57.
- <sup>22</sup> Habermas, J. *Theorie des Kommunikativen Handelns*. Frankfurt am M., Suhrkamp, 1985, p. 573

- <sup>23</sup> Bourdieu, P. *Op. cit.*, p. 100
- <sup>24</sup> См.: Berthoud, G., Busmo, G. (1990), 'Les Intellectuels, Declin ou Essor?', in *Revue europeenne des sciences sociales*, 28 (87), 1990, pp.251-78.
- <sup>25</sup> См.: Featherstone, M., *Op. cit.*
- <sup>26</sup> См.: Thompson, J., *Ideology and Modern Culture*, Cambridge, Polity Press, 1990.
- <sup>27</sup> См.: Behloradsky, V. *La Modernita e Oltre*, Geneva, Bozzi, 1989.
- <sup>28</sup> См.: Habermas, J. *Theorie des Kommunikativen Handelns...*
- <sup>29</sup> См. положение Э. Гидденса о "даоинной герменевтике" в его книге "Новые правила социологического метода": Giddens, A. *New Rules of Sociological Method*, London, Hutchinson, 1976.



Дэвис Г.

## **Формирование и неравномерное развитие социального знания: пример социологии в Британии\***

Одной из притягательных сторон международного научного сотрудничества является то, что оно высвечивает неожиданные сходства и различия, наличествующие в истории и траекториях развития сопоставляемых академических традиций. В то же время такое сотрудничество иллюстрирует и олицетворяет процессы интернационализации и глобализации культуры, а также проблемы взаимной доступности форм знания в условиях позднего модерна. К числу этих проблем относится феномен уплотнения связей во времени и пространстве, которые ассоциируются с легкостью и быстротой коммуникации между участниками академического сообщества. Этот феномен требует рефлексивного осознания тех языков — социологического и философского, которые мы используем для общения друг с другом. Способы нашего говорения — это отправная точка того процесса, который в конечном счете может привести к общему социологическому дискурсу, однако, предположение о том, что сказанное нами может быть услышано и понято без трансляции и интерпретации, является упрощением проблемы. Метафора трансляции и интерпретации может быть полезна в силу того, что она призывает нас быть бдительными при рассмотрении природы нашей проблемы: имеем ли мы дело с различиями между отдельными группами языков, диалектами внутри одного языка или просто различиями в стиле и лексике?

Отправляясь от перспектив социологического проекта в том виде, в каком он сформировался в Британии, настоящая статья исследует проблемы типичные для академической культуры, порожденные этой культурой, а также задается вопросом: в какой степени

---

\* Перевод Л.Р. Низамовой

возможна "переводимость" определенного опыта в другие культурные контексты?

Иногда утверждается, что социология в Британии развивалась медленно, и это возможно было справедливо в отношении социологии в узком смысле, то есть социологии как профессиональной ассоциации, журнальной культуры или академической дисциплины<sup>1</sup>. На самом деле употребление термина "социология", равно как и институционализация самого предмета в качестве учебной дисциплины, началось в Британии в то же время, что и во многих других странах. Как и повсюду, это явилось ответом на процесс индустриализации и представляло собой одно из выражений растущего самосознания современных обществ и их институтов, столкнувшимся с радикальным социальным переустройством и новыми социальными конфликтами. Однако, влияние этих факторов не было однозначным. Социология в Британии оформлялась на фоне теории (прежде всего моральной философии и политической экономии), в которой, с одной стороны, был ясно выражен морально-нравственный аспект, а с другой — заложена идея общественного прогресса. Вместе с тем, практика социологии как формы социального знания была глубоко укоренена в эмпирическом подходе к пониманию и успешному разрешению социальных проблем. Потребность установить научный статус социологии наравне с естественными науками никогда не была такой же настоящей, как в некоторых других странах Европы или в США — фактически, формирование социологии в Великобритании во многом обязано как развитию методов эмпирического исследования в целях практической политики и созданию институциональных средств руководства этими исследованиями, так и развитию идей и теорий.

Работа по сбору и интерпретации социальных данных была хорошо освоена задолго до того, как социология стала признана в качестве отдельной академической дисциплины. Еще в начале XX века в целях административного содействия сбору демографических и социальных данных были созданы статистические общества. Практика "социального учета" заложила фундамент точного подхода в социальном исследовании и методов причинного объяснения с использованием количественных данных. Однако не менее важным был более поздний вклад таких "социальных первопроходчиков", как Генри Мэйхью и Чарлз Бут, которые в процессе детального документирования усло-

вий существования рабочего класса не просто собирали факты, но и сами погружались в исследуемый субъективный мир. Они делали акцент на чисто утилитарных задачах: добиться выполнения чего-либо или получить знание о том, как это сделать. Их попытка понять изнутри, что такое нищета и низкая зарплата, явилась предтечей более поздней понимающей социологии, включающей исследования местных сообществ и этнографию субкультур. Тесная связь с социальной политикой и социальными реформами хорошо иллюстрируется социальными обследованиями, проведенными Раунтри в Йорке в 1899 году, в ходе которых были усовершенствованы методы Бута, а социальное исследование утвердилось в качестве формы пропаганды реформистски ориентированного социального управления и поддерживаемых государством мер поддержания благосостояния.

Основание Социологического общества в 1903 году обычно рассматривается как событие, обозначившее начало социологии как определенного профессионального сообщества и академической дисциплины, имеющей в своем распоряжении регулярно издаваемый журнал "Социологическое обозрение" (Sociological Review). Это социологическое сообщество представляло собой группу ученых и людей других профессий (планировщики городского развития, сторонники евгеники, социальные работники), которые рассматривали социологию как средство борьбы с социальными бедствиями индустриализации. Именно в русле такого понимания предмета была создана первая кафедра социологии в Лондонской школе экономики (London School of Economics — LSE) в 1907 году. Изначальная особенность социологии как университетской дисциплины заключалась скорее в ее практический, нежели теоретический направленности, она была более склонна ретиво браться за решение социальных проблем, чем исследовать их причины. Эта особенность, а также тот факт, что при организации LSE были нарушены установленные ранее дисциплинарные деления, помогает объяснить бесформенность предмета в течение нескольких начальных десятилетий и его развитие по разным, весьма слабо друг с другом связанным направлениям. Как отмечает Ральф Дарендорф, автор обширной истории LSE<sup>2</sup>, ее деятельности было присуще "приводящее в замешательство смешение идей Маркса и антимарклизма, антропологии и истории, описательных и рекомендательных подходов". Более тридцати лет LSE оставалась единственным со-

циологическим центром в Британии, но то была социология, не имеющая определенного теоретического фокуса или парадигматического статуса.

После войны 1939-1945 годов и принесенных ею неурядиц чувство потребности в социальной теории и социологических исследованиях с целью обеспечения поддержки социальной реконструкции усилилось. Рост числа людей с соответствующей формально-юридически закреплённой квалификацией и опытом преподавания социологии, или же и с тем, и другим, стимулировал формирование Британской Социологической Ассоциации в 1951 году. Этот факт, а также значительное влияние американской социологии, выдвинули на передний план проблему профессионализма: должна ли социология стать профессиональным академическим сообществом, наподобие других или же она должна остаться ассоциацией по защите интересов тех, кто занимается социологией, не важно теоретической или прикладной, академической или не академической? Эти вопросы не были разрешены тогда и до сих пор остаются темой продолжающихся дискуссий.

Процесс институционализации и профессионализации, происшедший в 1950-е и начале 1960-х годов, был связан с быстрым ростом числа выпускников-социологов: так, по оценкам Эббота<sup>3</sup> в период между 1952 и 1956 годами этот рост составил 450%. Сходным образом происходил рост количества новых публикаций. В течение десяти лет было создано 28 новых кафедр в разных университетах и 30 новых профессорских должностей. К 1966 году число выпускников-социологов составило 1768<sup>4</sup>. Интенсивное развитие социологии, связанное с общим расширением системы высшего образования, привело не столько к созданию единой дисциплины, сколько к разнообразию более специализированных суботраслей социологического знания, таких как демография, возглавляемые Глассом (Glass) исследования классового неравенства и социальной мобильности, и включенное наблюдение сельского и городского сообществ, предпринятое Франкенбергом, Вильмоттом/Янгом и другими (Frankenberg, Wilmott/Young and others). Некоторые кафедры имели большую теоретическую направленность (или же просто незначительные ресурсы для проведения эмпирических исследований), другие — объединяли социологию с такими дисциплинами, как антропология или социальная политика. Часто в книжных обзорах социологических журналов того времени вы-

сказывалось сожаление о недостатке методологической компетентности авторов: такого рода сетования были одним из признаков широко распространенного мнения о том, что социология нуждается в большем "профессионализме". При этом профессиональная компетенция сводилась, главным образом, к количественным техническим навыкам, которые к тому времени являлись преимуществом профессионального образования большинства американских социологов. Создание Совета по исследованиям в области социальных наук (Social Science Research Council) в 1965 году было важным моментом в развитии профессионального обучения и финансирования исследований, так как Совет стал координировать размещение значительных объемов государственного финансирования социологии и других социальных наук в соответствии с механизмом равного распределения.

Говоря о двусмысленности социологии как дисциплины, Пьер Бурдьё утверждает, что "когда определенный вид деятельности конституируется в качестве университетской дисциплины, то вопрос о функции этой деятельности... снимается"<sup>5</sup>. Это было бы справедливо в отношении британской социологии, если бы поиск единства дисциплины посредством акцента на технике и "нейтральности" науки увенчался успехом. Но на практике открытость социологии новым интеллектуальным веяниям и ее связь с историческими проектами социализма и социального реформирования с самого начала ее существования привели к тому, что вопрос о ее функциях постоянно ставился заново. Как отмечает Абраме, именно своеобразная разновидность марксизма вышла на передний план после того, как функционализм и эмпиризм оказались не способными обеспечить обещанное единство дисциплины. "Движение к профессионализму, основывающемуся на "могуществе метода" было осложнено из-за возникновения ряда новых самостоятельных и в гораздо большей степени актуальных дискуссий именно по тем существенным теоретическим и практическим вопросам, которые до тех пор избегались в ходе профессионализации..."<sup>6</sup>. Марксизм, считает Абраме, поначалу практически игнорируемый в стандартных социологических текстах 1950-х годов, предпринял быстрое и всестороннее вторжение с тем, чтобы стать господствующим направлением в социологической теории, впрочем, будучи отмеченным чрезвычайным разнообразием своих форм. Социология конца 1960-х и начала 1970-х годов, важная часть лексики которой

была развита благодаря неомарксизму, стала частью авангарда "контркультурных" движений, а интерес к ней стал популярным способом выражения личностной, политической и теоретической критики властных структур, корыстных интересов, установившихся институтов и традиций<sup>7</sup>. В этой обстановке теория в качестве ресурса развития базисных положений стала казаться слишком ограниченной, технологичной и позитивистской. Социальная теория все более рассматривалась как самоцель, будучи направленной на возведение истины о социальном мире через раскрытие его оснований, — то есть скорее как философская критика, чем "нормальная наука".

Однако, эти изменения не умилили значимости эмпирической социологии. В этой области количество опубликованных работ росло с расширением дисциплины и ростом ее популярности, но вместе с этим роль количественных и статистических подходов снижалась по отношению к качественным и интерпретативным исследовательским методам. Например, роль официальной статистики была оспорена "критической криминологией", строившей свои оценки девиации на основе этнографических и качественных исследований девиантных и криминальных субкультур. Схожие критические подходы были развиты и в других областях, таких как индустриальная социология, исследования коммуникации и, что особенно примечательно, тендерные исследования. В этих отраслях весьма заметны сильные отголоски более ранней британской традиции изучения сообществ, идентифицируемых с маргинальными группами и радикальными движениями. Факт безуспешности этих движений в 1970-е годы, развивавшихся на фоне глобального экономического спада и неудачи в применении ортодоксальных экономических механизмов, приводил к отказу от институционального анализа процессов в сфере производства и государственного управления.

Так называемый "культурный поворот" в британской социологии<sup>8</sup> совершался именно на этом фоне. Культурный анализ, разумеется, никогда не был синонимичен социологии, но его все возрастающее значение было проиллюстрировано на ежегодной конференции Британской Социологической Ассоциации 1978 года, основной темой которой была избрана социология культуры. Ощущение важности проблем культуры было двояким: с одной стороны, с ростом ее усложненности сфера массовой коммуникации и развлечения представлялась

все более эффективным способом социального господства; с другой же стороны, развивающийся процесс рефлексивной апроприации (усвоения) значений в контексте повседневной жизни, казалось, вел к индивидуальному освобождению. Эта двойственность в теории в области культурных исследований проявилась в двух основных парадигмах - структурализме и культурализме<sup>9</sup>. В эмпирической социологии изучение культуры скорее сосредоточивалось на анализе производства значений, чем на культурных формах, артефактах или социальных процессах. Анализируя статьи, опубликованные в основных британских социологических журналах в период с 1977 по 1979 год, Бекхофер обнаружил, что 58% из них либо содержали мало эмпирических данных, либо не содержали их совсем. Те же, что прибегали к эмпирике, в основном представляли количественные методы или простые методики социологического обследования<sup>10</sup>. Таким образом, поворот к культуре помог заново определить социальную теорию как исследование основ знания, исходя при этом, главным образом, из определенной совокупности гуманистических и интерпретативистских предположений. Этот поворот открыл социологию для широкого круга новых интеллектуальных влияний, особенно со стороны французской философии и социальных наук, в частности потому, что последние оказались наиболее близкими из всех континентальных традиций в силу географии и интереса к французскому языку. Однако он так же усилил отход существующих областей исследования от тщательно разработанных количественных методов, что привело по существу к обратному эффекту, заключавшемуся в том, что британским студентам и исследователям становилось все труднее работать с литературой и заниматься той же работой, что и значительная часть более крупного отряда социологов-исследователей в других частях Европы и Северной Америки.

Социология в 1980-е годы успешно пережила первые попытки администрации Тетчер дискредитировать предмет и, пожалуй, сумела даже укрепить свое институциональное положение посредством установления связей с другими дисциплинами (в особенности, исследованиями медиа) или с помощью таких прогрессирующих суботраслей, как медицинская социология или женские исследования. Однако, в ходе этого она и что-то потеряла: теоретический язык стал более абстрактным и релятивистским, ей явно было мало что сказать о быстрых социальных и политических переменах этого десятилетия, и она заня-

ла скорее пораженческую позицию по отношению к проблеме социальной деятельности (social agency) за исключением ее индивидуальной формы. Эмпирическая социология продолжала оставаться в значительной степени интерпретирующим видом деятельности, но при этом в социологических журналах происходило постепенное увеличение удельного веса статей, основанных на анализе количественных эмпирических данных. Вследствие определенных шагов администрации Тетчер, подвергающих сомнению научность социального исследования, Совет по исследованиям в области социальных наук (SSRC) был переименован в Совет по экономическим и социальным исследованиям (Economic and Social Research Council — ESRC), уделявший все большее внимание применению результатов научных исследований в социальной политике и обучению аспирантов исследовательским методам, включающим количественные приемы. Этот сдвиг помогает объяснить рост эмпирических исследований, хотя и нет оснований полагать, что при этом происходило сколько-нибудь существенное развитие в преподавании исследовательских приемов и количественных методов на уровне вузовского обучения.

Таким образом, в прошлом было принято говорить о "британской социологической традиции". Она была легко узнаваема благодаря ее четко выраженному эмпирическому подходу, ее либеральным реформистским симпатиям, ее восприимчивости к новым интеллектуальным направлениям и ее скептическому отношению к "большим теориям" (grand theories). Эти тенденции предотвратили утверждение единой ортодоксии, и даже когда социологическая дисциплина в Великобритании в 1950-е годы оказалась под мощным влиянием североамериканской функционалистской социологии, она очень скоро столкнулась с внутренним движением, направленным против этого унифицирующего влияния. Многие из этих особенностей сохраняются и ныне, находя отражение в структуре социологических учебных планов и в огромном институциональном разнообразии тех условий, в которых ведется сегодня социологическая работа. В то же время, социология меняет свое лицо под воздействием тех самых процессов глобализации, информационного общества, постмодерна и дестрадиционализации, которые она стремится объяснить. Сегодня положение социологии парадоксально: оно сохраняется институционально, но неустойчиво в интеллектуальном отношении. С одной сто-



роны возможность выработки хорошо обоснованной научной социологической методологии была упущена, что привело к потере модернистской теорией ее авторитета и уверенности в себе. С другой стороны, основной четко выраженной альтернативой модернистской теории является радикальный скептицизм и релятивизм теорий постмодерных. Какое же это имеет значение для дальнейшего развития социологии в британском контексте?

За тридцать лет существования социологии в качестве университетской дисциплины в Британии система высшего образования в стране в целом претерпела существенные изменения. В течение 1960-х годов она быстро развивалась, но по-прежнему оставалась селективной и элитистской по своему характеру. Целью большей части университетских специализированных программ в области социальных и гуманитарных дисциплин было обеспечение высокого уровня общего образования, важного для подготовки к вхождению выпускников в расширяющиеся сектора административной и профессиональной занятости. Большинство курсов в области социальных наук (за исключением прикладных) не имели целью непосредственно обеспечить законченную профессиональную квалификацию, и поэтому учебный план по социологии был либеральным по своей концепции и структуре. Обычно он обеспечивал получение знания теоретических оснований классических традиций в социологии, курсов по ряду самостоятельных областей и специализаций, а также введение в планирование и/или методологию (методику и технику) эмпирического исследования. Обучение исследовательским методам на уровне, который бы позволил выпускнику-социологу стать независимым исследователем, являлось скорее исключением, чем правилом. Эта открытая либеральная концепция предмета социологии и соответствующей учебной программы поддерживалась не потому, что существовали единые правила профессиональной подготовки, а потому, что сложился определенный цельный подход к социальной теории, основанный на рационалистических положениях отцов-основателей социологии XIX века, и выработалась определенная традиция критического осмысления того, что в целом признавалось в качестве канона "социологической традиции". К концу 1960-х годов эта традиция приобрела скорее форму глубоко критического переосмысления, нежели построения теории заново на ранее заложенных основаниях или в духе всеобщего синтеза Парсон-

са. Однако предполагалось, что понимание и объяснение общества были возможны посредством точного наблюдения и теоретического объяснения. Все героические усилия по разработке социологии индустриального общества, постиндустриализма, развития и зависимого развития, а также капиталистического государства предпринимались в уповании на реализм избранного подхода и в стремлении к всестороннему и целостному анализу социального мира.

Модернистские теории подверглись сомнению с ростом популярности положений о "постмодерне" и критики модерна. Настоящая статья не имеет целью анализ последовательности этих положений или освещение тех причин, по которым они стали столь модными. Подчеркнем лишь очевидность того, что в своей наиболее радикальной форме они указывают на препятствия на пути к истинному знанию о мире, приветствуя плюрализм разнообразных культур и перспектив вплоть до отказа от требований логической связности. В рамках типового учебного плана по социологии "культура" ассоциировалась главным образом либо со специализированной суб-областью, касающейся искусства и литературы, либо с теориями социальной антропологии. Сейчас вряд ли было бы преувеличением сказать, что культура является ключевым понятием, позволяющим затронуть все аспекты интерпретации в социологии и культурных исследованиях. К наиболее положительным сторонам такого положения дел можно отнести открытие заново категорий "обыденного", "современного" (contemporary) и "популярного", а также признание того, что повседневное существование не является лишь наполнителем абстрактных социальных процессов, что оно, по существу, представляет собой жизненно важный центр, в котором конституируются значение, идентичность и социальные отношения. Однако, термин "культура" слишком емок. Его влияние на социологический учебный план отчетливо выражается в растущем разнообразии, диверсификации программ и курсов в условиях быстрого разрастания культурных исследований в течение 1980-х годов. Большая часть разработок в этой области является междисциплинарной по характеру, инкорпорирующей многочисленные суб-отрасли, такие как этнические и тендерные исследования, которые не относятся лишь к какой-то одной интеллектуальной традиции. В социологии под воздействием этого оказались и структура, и содержание учебного плана, и методы преподавания. Во-первых, хотя канон и

традиции социологической теории не были заменены, их статус стал еще более неопределенным. Классиков более не трактуют ни в качестве фундамента построения современной теории, ни как способ дисциплинирования, укрощения социологической мысли. Они стали занимать относительно второстепенное положение в учебном плане, рассматривая» иногда как ресурс, иногда как контраст современной теории и редко — в качестве основы теоретической аргументации. Однако, несмотря на это, современные теоретики не выработали новую ортодоксию, и большинство из них не считает это своей целью. Даже основной вопрос о том, может ли и должна ли социология в условиях позднего модерна быть "социологией постмодерна" или "социологией модерна", не был разрешен<sup>11</sup>. Изучающий социологию сталкивается с имеющей размытые границы "дисциплиной", которая заимствует многое из других источников и для которой характерно слабое чувство преемственности с прошлым и большая неопределенность в отношении статуса "теории". Конечно, социология не является в этом отношении исключением, разделяя такое Положение с большинством гуманитарных наук. Второе следствие, касающееся содержания учебного плана и изучаемых предметов, — это растущий удельный вес "культурных" тем (медиа, коммуникации, популярная культура, этничность и т. д.) по сравнению с темами, составлявшими прежде сердцевину традиционных социологических интересов (социальная структура и неравенство; занятость; политика и власть; порядок и социальный контроль). К пониманию уместности социологических теорий и аргументов (доводов, дискуссий) в эмпирическом изучении современных (contemporary) обществ студенты приходят именно через изучение таких самостоятельных "культурных" тем, которые преподаются обычно как курсы по выбору или факультативные модули. Конечно, предоставление студентам некоторой свободы выбора между разнообразными подходами и специализированными интересами является вполне уместным. Вместе с тем, это означает, что эмпирические исследования и критическая оценка данных занимают второстепенное положение по отношению к дискурсивным подходам к культурным вопросам. Эта особенность тесно связана с третьим аспектом недавних усовершенствований: маргинализацией преподавания методов эмпирического исследования. Преподавание исследовательских "методов" является стандартным элементом социологичес-

кого учебного плана, и многие программы преподавания культурных исследований включают эмпирический компонент. Однако, ввиду преобладающей точки зрения на социологию как непарадигматическую дисциплину, преподавание эмпирических методов имеет тенденцию к отрыву от основной программы или даже к превращению его в факультативное. Преподавание курсов по количественным методам, выходящим за пределы простой статистики является своего рода исключением и, вероятно, гораздо больше уделяет внимания критике официальных данных и "позитивистских" подходов, чем их практическому использованию. Не существует такой профессиональной ассоциации или легитимирующего органа (в отличие, например, от ситуации в психологии), который бы устанавливал определенные требования к социологическому учебному плану. Поэтому этот план прошел вышеозначенную эволюцию в силу двух основных влияний: предпочтений социологического факультета и запросов со стороны студентов. Таким образом, основные пристрастия британской социологии были сохранены и, возможно, даже расширены по мере разрастания дисциплины.

В 1990-е годы два новых обстоятельства способствовали коренному изменению в системе высшего образования, включая преподавание социальных наук: более строгий финансовый режим в высшем образовании, который стал следствием расширения системы при недостаточном для этого финансировании, и повышенные требования к отчетности по использованию государственных финансовых вложений. В долгосрочной перспективе это, вероятно, приведет к серьезным последствиям, так как и то, и другое связано с новыми формами институционализации. Во-первых, в британской системе высшего образования появился совершенно новый элемент, а именно — формальная проверка качества преподавания по всем предметам внешними экспертами, действующими в соответствии с критериями, которые установлены централизованным государственным органом (Советом по финансированию высшего образования — the Higher Education Funding Council), распределяющим денежные средства среди вузов. Сама по себе процедура TQA (Teaching Quality Assessment — оценка качества преподавания) посредством одинаковой для всех проверки, которую она предполагает, является обременительной, но ничем не примечательной. В настоящее время она основывается на оценке выполнения

определенной работы в соответствии с целями, определяемыми самими кафедрами в рамках стандартизированного кафедрального отчета, но при этом намеренно избегает установления общего стандартного учебного плана в аспекте содержательном. Похоже, что в рамках такого подхода традиции академической свободы и независимости ученых признаются, однако то, что предпочтение отдается роли стандартизированных правил преподавания и таких понятий, как "основные навыки" или "прогресс" студентов по мере прохождения учебного плана, приводит к быстрой утрате различия между структурой дисциплины, ее содержанием и методикой преподавания. Среди долгосрочных последствий такой стратегии (наряду с желаемым повышением "качества") можно предвидеть установление более узкого, более парадигматического определения предмета, движение в направлении общей структуры учебного плана при кумулятивном подходе к обучению, и утверждению определенного набора стандартных навыков. Похоже, что вместо существовавшей ранее открытой модели, позволявшей студентам возвращаться к центральным темам социологии (таким, например, как структура и действие, социальный порядок и конфликт) с тем, чтобы проверить и углубить их понимание, предпочтение отдается модели, в рамках которой знания должны накапливаться в установленном порядке наподобие строительных блоков. Такая установка в состоянии привести к лучшей координации в методике, позволяя преподавателям лучше представлять контекст своей деятельности, и в этом смысле она не является всецело негативным явлением. Однако очевидно, что перемены связаны с процессами формальной рационализации и тщательной проверки, которые не имеют ничего общего с изменением содержания академических дисциплин. В контексте системы высшего образования, все сильнее подвергающейся влиянию рыночного принципа спроса со стороны абитуриентов, эти изменения связаны с определенной разновидностью дестрадиционализации — таким образом социология разделяет общую судьбу со многими другими современными формами знания и культуры.

Институциональная позиция социологии поддерживается как финансированием преподавания, так и финансированием социальных исследований. Государственная поддержка при этом имеет два основных источника: общий грант Совета по финансированию высшего об-

разования (HEFC), зависящий от результатов исследований и общей способности к их осуществлению, а также гранты Совета по экономическим и социальным исследованиям (ESRC) для конкретных исследовательских проектов. Размещение обоих типов финансирования приобрело за последнее время чрезвычайно упорядоченный характер в ответ на требование большей подотчетности в отношении государственных денежных средств, что, в свою очередь, существенным образом повлияло на тематику исследований. В соответствии с установленными правилами денежные средства HEFC ассигнуются в адрес учреждений, а не конкретных проектов, но количественные и качественные результаты исследования оцениваются в соответствии с такими критериями, как, например, количество статей, опубликованных в реферируемых журналах, что создает определенный комплекс ожиданий относительно того, что является исследованием в рамках данной дисциплины. ESRC занял гораздо более ясную позицию, когда приоритет отдается исследованиям, "отвечающим нуждам потребителей и повышающим экономическую конкурентоспособность Соединенного Королевства, качество жизни и эффективность государственных служб и политики"<sup>12</sup>. Более двух третей бюджета отдается девяти "темам", которые были "выведены" в итоге консультаций с потребителями и лицами, пользующимися результатами социальных исследований, а также самими учеными-обществоведами. Разнообразие тем простирается от экономического действия, инновации и социальных аспектов технологического развития до вопросов управления, социальной интеграции и социальной исключенности<sup>TM</sup>. Финансирование социальных исследований Европейским союзом имеет сходный директивный характер. Придание особого значения роли "заказчика" исследования создает предвзятость в отношении инновационных и критических исследований, так как наиболее влиятельные заказчики имеют средства, чтобы определить проблемы исследования как проблемы, которые *они* хотели бы решить. В противоположность этому, проблемы науки — являются как бы ничейными.

Пессимист, возможно, увидит в этих изменениях еще один симптом всеобщего нашествия утилитарных форм знания, которые превращают пространство интеллектуальной жизни в общественные отношения и делают академические институты похожими на универмаги. Однако, я считаю, что некоторые основания для оптимизма сущест-

вукгг поскольку будущее социологии как формы знания тесно связано с ее развитием в качестве социального института; думается, она сумеет выработать положительную реакцию на внешнее давление. Социология как дисциплина сохраняет свои позиции как в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, так и в Европе. В интеллектуальном смысле она характеризуется повышенной активностью (в отличие от США, где количественно и с точки зрения ресурсов произошел серьезный спад, и где многие социологические исследования, являясь слишком эмпиричными, не внося никакого вклада в развитие социальной теории), и является гораздо более интернациональной, чем когда-либо прежде. Дальнейшее ее развитие будет связано с постановкой вопросов, подобных тем, к которым обращались старшие поколения: статус теории, взаимосвязь между теорией и эмпирическим исследованием, практическая уместность социологического знания в социальной и государственной политике. Однако, отличия от прежней социологии будут, вероятно, состоять в том, что для получения результатов нам необходимо осознание более широкого академического контекста и создание в пределах складывающихся сетей международной кооперации и обмена такого особого пространства, которое способствовало бы "социологическому воображению", а не только исследованию в чьих-то интересах.

Таковыми представляются основные проблемы социологии перед лицом будущего, однако в связи с этим возникает и ряд побочных проблем, что подводит нас непосредственно к вопросу о переводимости. По мнению некоторых комментаторов, усматривающих в исследованиях недавнего времени глубину и серьезность, здоровый соревновательный плюрализм позиций и готовность теоретиков иметь дело с "большими проблемами"<sup>13</sup>, теория сегодня находится в достаточно жизнеспособном состоянии. Каковы основные характеристики этого теоретизирования и как оно соотносится с проектами синтеза, социальной трансформации и универсального объяснения, каждый из которых мы можем найти в рамках социологической традиции, пребывающей в симбиозе с другими сторонами эпохи модерна?

Ключевым вопросом, а также одной из непосредственных проблем взаимного понимания коллег в разных странах является смысл "теории". Социальная теория предстает как философствующий, универсалистский дискурс о природе "социального" или социального бы-

разования (HEFC), зависящий от результатов исследований и общей способности к их осуществлению, а также гранты Совета по экономическим и социальным исследованиям (ESRC) для конкретных исследовательских проектов. Размещение обоих типов финансирования приобрело за последнее время чрезвычайно упорядоченный характер в ответ на требование большей подотчетности в отношении государственных денежных средств, что, в свою очередь, существенным образом повлияло на тематику исследований. В соответствии с установленными правилами денежные средства HEFC ассигнуются в адрес учреждений, а не конкретных проектов, но количественные и качественные результаты исследования оцениваются в соответствии с такими критериями, как, например, количество статей, опубликованных в реферируемых журналах, что создает определенный комплекс ожиданий относительно того, что является исследованием в рамках данной дисциплины. ESRC занял гораздо более ясную позицию, когда приоритет отдается исследованиям, "отвечающим нуждам потребителей и повышающим экономическую конкурентоспособность Соединенного Королевства, качество жизни и эффективность государственных служб и политики"<sup>12</sup>. Более двух третей бюджета отдается девяти "темам", которые были "выведены" в итоге консультаций с потребителями и лицами, пользующимися результатами социальных исследований, а также самими учеными-обществоведами. Разнообразие тем простирается от экономического действия, инновации и социальных аспектов технологического развития до вопросов управления, социальной интеграции и социальной исключенности<sup>TM</sup>. Финансирование социальных исследований Европейским союзом имеет сходный директивный характер. Придание особого значения роли "заказчика" исследования создает предвзятость в отношении инновационных и критических исследований, так как наиболее влиятельные заказчики имеют средства, чтобы определить проблемы исследования как проблемы, которые *они* хотели бы решить. В противоположность этому, проблемы науки — являются как бы ничейными.

Пессимист, возможно, увидит в этих изменениях еще один симптом всеобщего нашествия утилитарных форм знания, которые превращают пространство интеллектуальной жизни в общественные отношения и делают академические институты похожими на универмаги. Однако, я считаю, что некоторые основания для оптимизма сущест-



вуют поскольку будущее социологии как формы знания тесно связано с ее развитием в качестве социального института; думается, она сумеет выработать положительную реакцию на внешнее давление. Социология как дисциплина сохраняет свои позиции как в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, так и в Европе. В интеллектуальном смысле она характеризуется повышенной активностью (в отличие от США, где количественно и с точки зрения ресурсов произошел серьезный спад, и где многие социологические исследования, являясь слишком эмпиричными, не внося никакого вклада в развитие социальной теории), и является гораздо более интернациональной, чем когда-либо прежде. Дальнейшее ее развитие будет связано с постановкой вопросов, подобных тем, к которым обращались старшие поколения: статус теории, взаимосвязь между теорией и эмпирическим исследованием, практическая уместность социологического знания в социальной и государственной политике. Однако, отличия от прежней социологии будут, вероятно, состоять в том, что для получения результатов нам необходимо осознание более широкого академического контекста и создание в пределах складывающихся сетей международной кооперации и обмена такого особого пространства, которое способствовало бы "социологическому воображению", а не только исследованию в чьих-то интересах.

Таковыми представляются основные проблемы социологии перед лицом будущего, однако в связи с этим возникает и ряд побочных проблем, что подводит нас непосредственно к вопросу о переводимости. По мнению некоторых комментаторов, усматривающих в исследованиях недавнего времени глубину и серьезность, здоровый соревновательный плюрализм позиций и готовность теоретиков иметь дело с "большими проблемами"<sup>13</sup>, теория сегодня находится в достаточно жизнеспособном состоянии. Каковы основные характеристики этого теоретизирования и как оно соотносится с проектами синтеза, социальной трансформации и универсального объяснения, каждый из которых мы можем найти в рамках социологической традиции, пребывающей в симбиозе с другими сторонами эпохи модерна?

Ключевым вопросом, а также одной из непосредственных проблем взаимного понимания коллег в разных странах является смысл "теории". Социальная теория предстает как философствующий, универсалистский дискурс о природе "социального" или социального бы-

тия. *Социологическая* теория имеет своей главной целью объяснение субстантивных социальных форм, структур и процессов посредством эмпирически проверяемых утверждений. Это по видимости простое различие между спекулятивной философией и социальными науками, конечно же, не столь отчетливо, как кажется. Лишь немногие безоговорочно присоединятся к одной из двух версий теории. Однако, не уточнив, что мы подразумеваем под "теорией", трудно даже начать осмысленный диалог о развитии социологии и социальной мысли. О существовании этой проблемы говорит многообразие сегодняшних теорий. Например, Бауман, один из наиболее активных интерпретаторов противоречивых столкновений социологии с постмодерном, не видит никакой возможности вернуться к старому стилю теоретизирования, основанному на классике и рационалистических стратегиях. С другой стороны, он не принимает постмодерн всецело и не отрекается от социального. Он строит социологию постмодернизма, которая охватывает противоречия, напряженность и двусмысленность конца эпохи модерна. По его мнению, задача социологии заключается в исследовании "эмерджентных [возникающих] достижений" людей как агентов, действия которых не в полной мере детерминированы и совершаются в контекстах неполной открытости и закрытости. Столь явно выраженная противоречивость может рассматриваться как серьезная проблема для традиционного социологического теоретизирования и как признак того, что социология все больше становится чем-то вроде философии. В противоположность этому, Гидденс полагает, что существует отчетливая связь между классикой модернистской социологии и современными интересами современной социологии. Его общеизвестная теория структуриации<sup>14</sup> подается как "герменевтически ориентированная социальная теория", которая способна соединить структуру и деятельность, микро- и макроуровни социальной организации в рамках всеобъемлющей и систематичной концептуальной схемы. Что это — героизм или ничто? Несмотря на всю концептуальную проработанность, теория Гидденса остается на удивление неопределенной в отношении ее причастности к эмпирическому социологическому исследованию, и он достаточно уклончив в вопросе о ее значении для методологии, говоря, что теоретические концепции есть лишь "средства, повышающие чувствительность" исследователя. В своей собственной работе он склонен к анализу и масштабному обобщению

поведения социальных агентов, базирующимся на иллюстративных примерах из вторичных источников. Вопрос о взаимоотношении его общей социальной теории и социологии современного общества он оставляет на самостоятельное рассмотрение других. Гидденс — не постмодернист, однако он похож на постмодернистов в силу противоречивости его концепции социальной теории и недостаточного внимания к методологии социологического исследования. Третий способ современного теоретизирования занимает положение, критическое по отношению к обеим выше означенным позициям, и может быть назван (нео)-реалистическим или "социологией против постмодерна". Например, оценка Музелисом<sup>15</sup> проблем социологической теории указывает на ее подчиненность философскому теоретизированию, уход в субъективность и дилетантскую очарованность проблемами онтологии и эпистемологии. Он утверждает, что теория должна сохранять свои холистические устремления лишь с целью развития концептуальных средств, способствующих осуществлению эмпирического исследования. Теоретический язык социологии должен способствовать "непрерывной коммуникации" между различными парадигмами и подходами, а также транслировать достижения других дисциплин, вводя их в общий корпус социологического знания<sup>16</sup>. Такой реалистический подход к социальным феноменам можно также найти в "Реалистической социальной теории" Арчера<sup>17</sup> и в книге "Как понимать социальную теорию" Лэйдера<sup>18</sup>, где отстаивается идея о том, что теория должна уметь выражать себя в качестве относительно независимого нарратива (повествования) о взаимоотношении структуры и действия, который поддавался бы эмпирической проверке, не вел бы к дуализму, и не сводил бы структуру к действию или наоборот.

Многообразие теорий, выдвинутых этими и многими другими авторами, указывает на три возможных пути развития социологического теоретизирования в Британии. Вероятнее всего они по-прежнему будут находиться во взаимодействии, влиять друг на друга и дополнять друг друга в рамках плюралистического, но цельного дискурса. Прочное институциональное положение предмета является тому лучшей гарантией. Наслаждаться плюрализмом ради плюрализма и отдавать дань постмодернистской моде будет возможно лишь на периферии дисциплины. Если взаимодействие между социальными/социологическими теориями пойдет по пути открытости, предлага-

емому Музелисом, то это станет гарантией их "переводимое™" как в смысле международного социологического общения, так и в смысле взаимного понимания между теоретиками в рамках одной национальной традиции. В конце своей книги Музелис подчеркивает необходимость "установить чрезвычайно децентрализованную, демократическую или диалогическую федерацию, которая бы уважала внутреннюю логику и динамику каждой теоретической ориентации или традиции, устраняя в то же время все преграды на пути свободного обмена идеями и находками"<sup>19</sup>. Если социология будет развиваться таким образом, то уменьшится риск дезинтеграции дисциплины или ее разложения на теорию, содержательный анализ, эмпирические методы и критику культуры.

Несомненно, что формирование и трансформация социального знания в каждом обществе не могут не отражать уникальности социальных условий и опыта в каждом конкретном случае. Нельзя считать, что даже наиболее общие понятия, такие как "общество" и "культура", могут быть переведены без каких бы то ни было проблем на другие языки или в иные теоретические традиции. Эта сложность заметна при использовании слов "культура", "культурные исследования", "культурология" и других однокоренных терминов в контексте сотрудничества в рамках программы Темпус. Однако попытка преодолеть эту сложность является живым примером конструктивного применения диалогического подхода. Разнообразные социологические традиции, представленные партнерами по программе Темпус, не обязательно являются легко совместимыми или предусматривают возможность их синтеза. Но, несмотря на различие в отправных точках и целях этих традиций, между нами может быть много общего в деле защиты интеллектуальной автономии, институционального обновления и приведения наших устремлений в соответствие с "большими вопросами" сегодняшнего дня.

### **Примечания:**

<sup>1</sup> Batnes, H.E., Becker, H.P. *Social Thought from Lore to Science* Boston, Mass: D C Heath, 1938, p. 17

<sup>2</sup> Dahrendorf, R. *Whither Social Sciences?* The 6th ESRC Annual Lecture, Swindon, ESRC, 1995, p.8

- <sup>3</sup> CM.: Abrans,P. *Practice and Progress: British Sociology 1950-1980* London, Allen and Unwin, 1981.
- <sup>4</sup> CM.: Smith,C. 'The Employment of Sociologists in Research Occupations in Britain Since 1973', in *Sociology* 9:2, 1975.
- <sup>5</sup> Bourdieu,P. *Sociology in Question*, London: Sage, 1993, p.27
- <sup>6</sup> Abrams,P. *Practice and Progress: British Sociology 1950-1980*, London, Allen and Unwin, 1981, p.65
- <sup>7</sup> CM.: Ross,A. *No Respect: Intellectuals and popular culture*, London, Routledge, 1989.
- <sup>8</sup> CM.: Chaney,D. *The Cultural Turn: Scene-setting Essays on Contemporary Cultural History*, London, Roudedge, 1994.
- <sup>9</sup> CM.: Hall,S. 'Cultural Studies: Two Paradigms', in *Media, Culture and Society* 2: 1,1980.
- <sup>10</sup> CM.: Bechhofer,F. 'Substantive Dogs and Methodological Tails: A Question of Fit', in *Sociology* 15:4, 1981.
- <sup>11</sup> CM.: Bauman,Z. *Intimations of Postmodernity*, London, Routledge, 1992.
- <sup>12</sup> CM.: ESRC *Thematic Priorities*, Swindon: ESRC, 1995.
- <sup>13</sup> CM., напp.: Layder.D. 'Review Essay: Contemporary Social Theory', in *Sociology* 30:3, 1996.
- <sup>14</sup> CM.: Giddens,A. *The Constitution of Society*, Cambridge, Polity Press, 1984.
- <sup>15</sup> CM.: Mouzelis,N. *Sociological Theory: What Went wrong?* London, Routledge, 1995.
- <sup>16</sup> ***Ibid.*, p.15**
- <sup>17</sup> CM.: Archer,M.S. *Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach*, Cambridge, CUP, 1995.
- <sup>18</sup> CM.: Layder,D. *Understanding Social Theory*, London, Sage, 1994.
- <sup>19</sup> Mouzelis,N. *Op. cit.*, p. 153

*Кумар К.*

## **Идея революции в двадцатом веке\***

*1789 и 1989*

В июле 1989 года, когда Париж был наводнен туристами, отмечавшими двухсотлетие взятия Бастилии, парижане старались избегать праздничных толп, укрывшись в своих загородных владениях. В течение предшествующих месяцев все более очевидным становилось разочарование французов 1789 годом, казалось, им надоела сама идея революции. Это было своего рода отражением того консенсуса, к которому приходило все большее число западных ученых после 1968 года. Триумфальную победу одержала "ревизионистская" историография Французской революции, иллюстрацией которой является характерное замечание Ричарда Кобба, что "Французской революции никогда не должно было быть, возможно ее никогда не было — во всяком случае она не имела никакого влияния на жизнь большей части людей"<sup>1</sup>. Общими стали пренебрежение революцией как способом трансформации и тот взгляд, что, если революции действительно когда-то были, по словам Маркса, локомотивами истории, то "в наш индустриальный (или "постиндустриальный") век локомотивы устарели как средство исторического транспорта"<sup>2</sup>.

Кое-где все это внезапно стало выглядеть совсем по-другому. В те самые месяцы, когда западное разочарование в революции выражалось в угрюмом отношении к двухсотлетию взятия Бастилии, идея революции возродилась в Восточной Европе. В период с июня по август 1989 года после многих лет репрессий вновь возникает движение польских рабочих "Солидарность" с тем, чтобы взять бразды правления в свои руки. Это послужило сигналом для революций, охвативших всю Центральную и Восточную Европу. Их волна в конце концов достигла Советского Союза и вызвала его распад в последние дни 1991

---

\* Перевод И.Г.Ясавеева

года. Революция, по-видимому, похороненная в Западной Европе, воскресла на Востоке.

Что же произошло в Восточной Европе во время "революции" 1989 года? И каким образом эти события связаны с западной революционной идеей? Действительно ли они, как утверждали некоторые, возродили ее, вдохнули в нее жизнь в то время, когда казалось, что она умирает, по крайней мере в Европе? Или они означают в некотором смысле конец революции? Подтверждают ли они широко распространенный взгляд, что революционная традиция в ее европейском понимании исчерпала себя?

Мы вернемся к эти вопросам в конце нашего анализа. Прежде всего обратим внимание на судьбу революционной идеи в Европе и в мире в целом, не сводя ее лишь к опыту восемнадцатого и девятнадцатого столетий, определившему ее характерную форму и значение.

### *От теории к технике*

"1789 и 1917 — это еще важные исторические даты, но уже не уроки истории". Альбер Камю, обдумывая идею революции в 1946 году среди европейских руин, приходит к выводу, что классические понятия больше не работают. Национальные революции согласно французской или российской модели невозможны. Формирование сверхдержав — США и Советского Союза — настолько трансформировало условия революции, что единственным ее видом, заслуживающим рассмотрения, стала мировая революция. Но такая мировая революция не будет отвечать старой мечте Троцкого о международной революции, вызванной "соединением или синхронизацией ряда национальных революций — своего рода сложением чудес". Сталин был большим реалистом. Мировая революция, если она вообще возможна, ныне означает революцию на острие штыков иностранных армий по всему миру. Она начнется с военной оккупации или с ее угрозы и станет значимой "только тогда, когда оккупационная власть подчинит себе весь остальной мир"<sup>3</sup>.

Существует утверждение, что "все революции начинаются в принципе как мировые революции", все они стремятся универсализировать свои цели и символы<sup>4</sup>. Никто не сомневается в этом относительно двух "классических" примеров, приведенных Камю, — Фран-

цузской революции 1789 года и Русской революции 1917 года. В меньшей степени они проявляют черты "международной гражданской войны", что Зигмунд Ньюманн, писавший примерно в то же время, что и Камю, отметил как отличительный признак войн и революций в XX веке<sup>5</sup>. Обращение к общим принципам человечества, призывы к угнетенным группам в рамках каждой нации, иностранная интервенция и международная война — все это может быть найдено как в случаях с Францией и Россией, так и в любых более поздних примерах, таких как Китайская или Вьетнамская революции.

Таким образом, существуют как преемственность, так и разрывы между прошлым и настоящим революции. Русская революция является, вероятно, лучшей иллюстрацией этого. В теории она оглядывалась на размышления марксистов и других авторов о европейских революциях с семнадцатого века по девятнадцатый. На практике — в условиях общества, породившего революцию, в природе сил, которые боролись за власть, в организационных формах, которые возникли в результате этой борьбы, — она предвосхищала будущие революции "третьего мира" в двадцатом веке (следует заметить, однако, что Мексика 1910 года и Китай 1911 года уже отчасти сформировали образец революций в "третьем мире")<sup>6</sup>.

Вместе с тем Камю был несомненно прав в том, что в нынешнем столетии различие между старым и новым стилями революции проявлялось все более. Международный аспект, в некоторой степени всегда присутствовавший в прошлых революциях, вырос до беспрецедентных размеров. Это проявилось как во время гражданской войны в Испании, так и в Центральной и Восточной Европе после Второй мировой войны. Это было очевидным в Китае, где Мао привел коммунистические силы к победе во многом через националистическую борьбу с японцами, и где его главный противник, Гоминьдан, поддерживался американским вооружением. Еще очевиднее это было во Вьетнаме, Алжире и на Кубе, где отношение и действия — или бездействие — крупных мировых держав были решающими для разрешения внутренних конфликтов в этих странах. Может, кто-то и забыл уроки гражданской войны в Испании, считая внешнюю интервенцию исключительно вне-европейским феноменом, однако международный фактор, во многом определил ход Португальской революции 1974 года и обусловил как



внезапное начало, так и последствия революций 1989 года в Восточной и Центральной Европе.

Если баланс сил на международном уровне являлся решающим в судьбе революций, то соотношение сил соперничающих сторон внутри государства едва ли было менее важным. Возможно, это имело большее значение в передовых индустриальных обществах, но и в обществах менее развитых это ни в коем случае не было чем-то незначительным. Уже в своем предисловии 1895 года к работе Маркса "Классовая борьба во Франции" Энгельс обращал внимание на значительный рост военной мощи современного государства. Революционеры оказывались во все более невыгодном положении в борьбе за государственную власть. Восстание в старом стиле, заключал Энгельс, с уличными сражениями и баррикадами, постепенно становится все более устаревшим, начиная с 1848 года<sup>7</sup>. Судьба городских восстаний в нынешнем столетии подтвердила его правоту. Город, по справедливому замечанию Фиделя Кастро, сделанному на основании латиноамериканского опыта, — это "кладбище революционеров"<sup>8</sup>. Без крестьянской поддержки, без предварительного ослабления или разрушения государственной власти в международной войне все исключительно городские восстания потерпели поражение. И со времен Энгельса, практически каждое продвижение в технологии производства оружия ?и: в -системах коммуникации усиливало способность правительства противостоять повстанцам.

Одним из последствий такого положения был отход от теории к технике. Классические произведения революционной теории девятнадцатого века — исследование Токвилем 1789 года, работы Маркса, посвященные 1848 или 1871 году, — касались долговременных причин революции и революционных перспектив в изменяющихся социальных условиях. Их выводы опирались на анализ исторической эволюции обществ. Токвиль и Маркс были подлинными социологами революции. Классика же революционной теории двадцатого века отражала одержимость техникой совершения революции. "Как совершить революцию" — вот адекватное выражение этой установки. Существование революционных сил и революционных ситуаций считалось само собой разумеющимся, что во многих случаях было губительным. Предполагалось, что все государства могут быть свергнуты при наличии необходимой воли и подготовки. Революционер, говорил Андре

Мальро, "должен не рассуждать о революции, а совершать ее". Приведем также утверждение Дебре: "политическую линию, которая, с точки зрения ее последствий, не может быть выражена как четкая и последовательная военная линия, нельзя считать революционной"<sup>9</sup>. В качестве доказательств выдвигались выдающиеся успехи революционного движения после 1917 года, непревзойденный опыт Китая и Кубы.

Революционные мыслители посвятили себя стратегии и технике захвата власти. Признавалось, что современный государственный аппарат имеет огромную власть; тем более важным было исследовать ее, найти ее возможные слабые места для использования их революционерами. Начиная с некоторых публикаций Коминтерна 1920-х годов, тексты, создававшиеся теоретиками революции, во все большей степени отражали профессиональные военные положения их противников. Революция заимствовала у контрреволюции тот взгляд, согласно которому главное — это военный успех; революционное мышление было превращено в мышление о войне. В своих работах Мао, Че Гевара, Дебре тщательно рассматривали современные приемы контрреволюции и отвечали на них пункт за пунктом. Для революции военные знания представлялись более важными, чем понимание общества, в котором планировалась революция. Выработанный во многом в отношении условий обществ "третьего мира" и имеющий к ним некоторую применимость, такой подход лишается всяких оснований при трансплантации в условия городского индустриального мира.

Новые ситуации предполагают новые идеи, хотя последние не всегда появляются. Некоторые исследователи были недовольны чрезмерным довлечением примеров Франции и России в высказываниях о революциях двадцатого века<sup>10</sup>. Меняющиеся условия революционного процесса на Западе и в мире в целом потребовали изменений в традиционных концепциях революции. Неясно, появилось ли вместо них что-то новое. Должно ли и может ли оно появиться? Постмодернисты хотели бы поместить революцию в мусорный ящик модернистских идей вместе с идеями истины и прогресса. Другие по разным причинам также могут ощущать, что время революции прошло, что она больше не подразумевает какое-либо значимое действие. Прежде чем оценить этот радикальный вывод, нам необходимо рассмотреть некоторые попытки оправдать понятие революции.

Если, как полагали многие, наш век является "веком революции", то к Западу это относится в незначительной степени. Как понятие и как практика революция — изобретение западное. Понятие, как это часто бывает, имело свое собственное развитие. Подобно крикету или английскому языку, оно больше не находится под контролем своих создателей. Революционная же практика, впрочем, до сих пор во многом обходила западные индустриальные общества двадцатого века. Дело не только в том, что не было той пролетарской революции, на которую надеялся и которую ждал Маркс; удивительно мало было революционных попыток вообще<sup>11</sup>. Революции 1989 года в Восточной и Центральной Европе могут представлять исключение, однако, как мы увидим, отнюдь не ясно то, что они являют собой отступление от общей картины.

Недостаток революционного опыта в недавней истории Запада известным образом сопровождался инфляцией понятий и, возможно, был вызван ей. По мере того как большинство населения западного общества забывало о своем революционном происхождении, интеллектуалы во все большей степени занимались совершенствованием идеи революции. Революция стала означать уже не просто изменение в политической или даже социальной системе, а трансформацию всего человечества до самых оснований.

Конечно, эта утопическая концепция революции была представлена уже в работах раннего Маркса и некоторых других мыслителей девятнадцатого века, (например, Фурье). Но она не была так сильна в обществах, мирившихся с фактом революции как регулярного явления и вездесущей возможности. Понятие революции, взятое из астрономии и примененное к обществу в семнадцатом веке, имело исключительно политическое значение до середины девятнадцатого века. Несмотря на всевозможные оттенки значения в результате влияния Английской, Американской и Французской революций, такое понимание оставалось господствующим. Лозунг Французской революции "Свобода, Равенство, Братство" более или менее адекватно выражал политические цели. По-разному интерпретируемые, последние могли принимать утопические формы; однако, для большинства революционеров исторические примеры Англии, Америки и Франции говорили о достижи-

мости целей и наличии институциональных средств продвижения к ним.

В 1848 году, по наблюдению как Маркса, так и Токвиля, "социальный вопрос" громко заявил о себе. К требованиям "национальной" или политической революции, имевшим более долгую традицию, добавилось требование революции социальной. Это требование усилилось благодаря последующему опыту Парижской Коммуны 1871 года и официальному признанию Третьей Республикой значения Революции 1789 года как основания своей истории. *"Интернационал"*, революционный гимн рабочих, бросил вызов *"Марсельезе"*, лозунгу буржуазии. Марксисты и анархисты повели спор о подобающей форме будущего социалистического общества; нигилисты и популисты в еще большей степени обострили эту полемику. Все были согласны с Марксом в том, что недостаточно *"частичной, просто политической революции"*, оставляющей на прежнем месте "каркасы здания"<sup>12</sup>.

Однако вплоть до Русской революции 1917 года идея революции не выходила за рамки французского образца 1789 года — "модели" революций девятнадцатого века. Когда в Париже в момент столетней годовщины взятия Бастилии (1889) учреждался Второй Интернационал, его создатели отдавали себе полный отчет в том уважении, которое оказывалось времени и месту. Новая революция, очевидно, должна была превзойти цели и достижения этого по существу "буржуазного образца", однако признавалось, что идеалы Французской революции все еще остаются основным ориентиром. Все революции стремились быть похожими на нее, даже если надеялись ее превзойти. "Французу, — говорил Ленин в 1920 г., — не от чего отречься в Русской революции, которая в своих методах и приемах воспроизводит Французскую революцию"<sup>13</sup>.

Именно Французская революция в силу ее образцового статуса подверглась нападкам в двадцатом веке. Русская революция не столько затмила французскую, по крайней мере на Западе, сколько усилила сомнения в отношении смысла последней. Это произошло не вследствие отклонения русского варианта от французской модели, а вследствие того, что он представлялся почти полным, чуть ли не рабским подражанием ей. Следуя этим путем и, более того, следуя им с успехом и основательностью, которые ускользнули от ее великой предшествен-

ницы Русская революция выявила с приводящей в замешательство ясностью те элементы модели, которые встревожили не только противников революции, но и ее друзей.

Результат Русской революции — подавление советов, однопартийное правление, государственный социализм — поставил под сомнение все основные черты классической французской модели революции. Больше невозможно стало принимать как нечто само собой разумеющееся, как необходимые и желательные определенные элементы всех революций: революционную партию, захват власти, "революционный террор" и использование централизованной государственной власти в целях трансформации общества. Размышления Троцкого о "советском Термидоре" для многих западных марксистов обобщают те оговорки, которые они делали в отношении Русской революции как новой модели<sup>14</sup>. Впредь революция должна была означать (помимо и сверх овладения властью) решение вопросов демократии, этики, образования и культуры. Большевики и их союзники ими интересовались, но осуществленная ими революция в конечном счете этим пренебрегла.

Тюремные произведения Грамши и Люксембург, а также работы Троцкого в изгнании стали источником всестороннего переосмысления понятия революции среди западных марксистов. Отношение интеллектуалов к революционной партии и партии к ее массовым приверженцам было пересмотрено с целью избежания российского прецедента. Предметом интенсивной полемики стали проблема "инкорпорации" рабочего класса в буржуазное общество и возможные средства его освобождения: тон здесь задавался Франкфуртской школой и ее "критической теорией". Венгрия в 1956 году, Чехословакия в 1968 и Польша в 1980 пополнили информацию к размышлению. Для "новых левых" послевоенного (после 1945 года) периода революция представлялась категорией, в которой политическое и экономическое содержание прошлых революций было перекрыто, почти переопределено в силу культурных устремлений. Если искать пример, который мог бы служить моделью такого понимания, то это не Россия, а Китай и "культурная революция" Мао.

Но для некоторых недостаточно было решения проблем образования и культуры, отличительных признаков нового понимания революции, ибо это означало заходить не достаточно далеко. Это в конеч-

ном счете дисквалифицировало в глазах Запада Китайскую и Кубинскую революции как примеры для подражания, несмотря на все их элементы новизны. В умах многих западных радикалов сохранялось убеждение, что революция все еще касается главным образом внешних форм. Постоянная неспособность революций выполнять свои обещания соотносилась с их безразличием к человеческому материалу, который осуществлял революцию. Порой рассматриваемые альтернативным образом как пушечное мясо для революции и/или как легко получающие новое образование граждане нового общества, людские массы на деле проходили через революцию, пронося большую часть багажа своего неперестроенного прошлого с собой. Политические и экономические формы изменялись — "человеческая природа" оставалась той же самой. Притеснение и подавление продолжали жить в умах и телах людей. Отсюда общая судьба всех революций до настоящего времени, Зачатые к свободе, они завершались реставрацией деспотизма. Революционный цикл от свободы к деспотизму казался насмешливым эхом первоначального астрономического значения этого термина. Подобно революциям небес, человеческие революции представлялись обреченными на прохождение через неизменные циклы, которые всегда будут возвращать их к отправной точке. Так будет, пока человеческие потребности и желания по-прежнему остаются охваченными дореволюционным прошлым.

Осмысление этого феномена привело многих интеллектуалов к полному отходу от революции. Революция вместе с коммунизмом, с которым она ассоциировалась на протяжении значительной части этого столетия, стала для них поверженным идиологом. Однако, других ранних Маркс и "утопические социалисты", такие как Фурье, вдохновили на переосмысление понятия революции в направлении того, что Олдос Хаксли назвал "по-настоящему революционной революцией: революцией в душах и телах людей"<sup>15</sup>. В этом, в конечном счете, заметно воскрешение программы Маркиза де Сада по перестройке физического влечения, а также влияние эстетической и чувственной утопии Уильяма Морриса. Исследование бессознательного сюрреалистами и их акцент на спонтанности явились другой составляющей. Над всем этим возвышался Фрейд, лишенный своей консервативной философии "фрейд-марксистами", такими, как Вильгельм Райх и Герберт Маркузе.

Значение Фрейда заключается в указании на "инстинкты" как на основной камень преткновения для революционных проектов. Он бросил последний вызов: эгоизм, агрессия и война свойственны биологической природе людей. Революция может изменить ее не больше, чем цвет их кожи. Стремясь показать, что это не так, что стяжательство и агрессия были продуктами исторически сформированных социальных систем, фрейд-марксисты стремились укрепить идею революции в ее наиболее уязвимой точке. Они решили признать значение "инстинктов", ибо никакая революция не может иметь успеха, если она игнорирует их силу. В доказательство приводилась ограниченность достижений прошлых революций. Энергия инстинктов не заморожена навсегда в пределах антисоциальных влечений, как думал Фрейд. Она может быть перенаправлена таким образом, чтобы служить революционным целям. Удовольствие (изначально как принцип секса) может и должно стать также и принципом работы и политики. Эрос способен покорить Танатос<sup>16</sup>.

Общим моментом в новых западных концепциях революции было настойчивое требование того, что для достижения успеха революция, в конечном счете, должна происходить на уровне повседневной жизни. Революция должна сойти с высокого трона политики и экономики и войти в скромное семейное жилище, сексуальную и эмоциональную жизнь людей. Она должна трансформировать не только политическую и экономическую сферы, но и структуры "биологических" и "инстинктивных" потребностей индивидов. Она должна признать значение прекрасного. Работа и досуг должны приобрести характер художественного созидания и удовольствия — само общество должно рассматриваться как произведение искусства<sup>17</sup>.

Многие из этих положений шумно утверждались во время "майских событий" 1968 года во Франции прежде всего в том виде, в каком они выразились в мышлении и действиях группы радикалов, известных как Ситуационистский Интернационал. Настенные надписи и манифесты ситуационистов возвещали такое понимание революции, которое подразумевало тотальное изменение природы человека и социального порядка: "Будьте реалистами — требуйте невозможного", "Вся власть воображению", "Запрещено запрещать". Как писал один из лидеров ситуационистов Рауль Ванейгем, "те, кто говорит о революции и классовой борьбе без явно выраженного обращения к пове-

дневной жизни, без понимания подрывного значения секса и позитивного элемента в отказе от принуждения — питаются мертвечиной"<sup>18</sup>. О разнообразии влияний, присутствующих в понятии революции, свидетельствуют названия комитетов действия, которые возникали в Париже в эти недели: "Комитет действия Фрейд — Че Гевара", "Комитет постоянного созидания", "Комитет по революционной сюрсексуальной агитации".

Грань между революцией и утопией, даже в девятнадцатом веке поддерживаемая без достаточного на то основания, теперь исчезает совершенно. Однако это отнюдь не означает, что утопические концепции революции, как и утопизм в целом, не имеют смысла. Они остро ставят вопрос о том, как произойдет или может произойти такая революция. Студенты в Париже временами, казалось, действовали так, словно государства не существовало, его властью пренебрегали как не имеющей значения. Они поняли, что в то время, как они игнорируют государство, последнее не желает игнорировать их, но не ясно было, насколько серьезно в эти месяцы революцию ожидали и надеялись на нее. Более важным представляется использование различных революционных стандартов из прошлого — для того, чтобы снизить, так сказать, планку для будущих революций, но это мало проясняет вопрос о будущих формах революционного действия. Как отметил Лешек Колаковский вскоре после рассматриваемых событий, "мы довольно хорошо знаем, что собираются делать люди, когда говорят "мы хотим землю!" или выкрикивают "долой тирана!". Предположим, они кричат "долой отчуждение!", но где находится дворец отчуждения и как его разрушить?"<sup>19</sup>.

Существует еще одна проблема, связанная с тем, что мы можем назвать "тоталистским" понятием революции, революции как тотальной трансформации индивида и общества. Прошлые революции создавали как для себя, так и для будущих подражателей особую образность и иконологию революции. "Свобода, ведущая народ" Делакруа с ее символизмом баррикад снабдила национальные и буржуазные революции девятнадцатого века ярким революционным мифом. Штурм Зимнего дворца в фильме Эйзенштейна "Октябрь" и плакаты, такие как "Бей белых красным штыком!" Лисицкого, играли сходную роль в иконографии пролетарской революции. Но каковы иконы тоталистского понятия революции, революции против отчуждения? Поскольку



настоящих революций такого рода, способных породить их, не было, не удивительно, что эти иконы трудно найти. Лежащие на поверхности отдельные образцы — плакаты ситуационистов 1968 года, некоторые из "маоистских" фильмов Жана-Люка Годара 1960-х годов, таких как "Китай", сексуальная политика "Тайн организма" Душана Макавеева — выдержаны, главным образом, в насмешливом или ироничном свете, им недостает полнокровное™, необходимой для достижения статуса иконы. Отсутствие какого-либо убедительного образа будущей революции — не самая маленькая из проблем, связанных с понятием революции на Западе.

### *Спасение через "третий мир"?*

Если передовой индустриальный Запад не смог представить какой-либо определенный пример революции в двадцатом веке, и его неспособность отразилась во все более отчаянных поисках нового, более содержательного понятия, то к обществам неразвитого "третьего мира" это, безусловно, не относится. Теоретические работы, посвященные революциям двадцатого века, представляют нам богатый материал. Почти все эти случаи связаны с "третьим миром". Мы можем сослаться на Мексику 1910, Китай 1911 и 1949, Вьетнам 1945, Алжир 1954, Кубу 1959, Иран и Никарагуа 1979 годов. Это отнюдь неполный перечень. Фред Холлидэй как-то сказал, что "если мы возьмем около 120 стран "третьего мира", то о двух десятках из них может быть сказано, что в них произошла социальная революция... со времени окончания Второй мировой войны"<sup>20</sup>. Конечно, ведутся споры о датах, о понятии "третий мир" и самом термине "революция" в отношении многих социальных явлений. Тем не менее, если оставить эти моменты в стороне, то не может быть сомнения, что если наш век действительно является веком революции, то в основном это связано не с Европой (или Западом), а — почти всецело — с незападными обществами (или обществами "третьего мира").

Рассмотрение этих революций в подобного рода работе может показаться неуместным. В двадцатом веке в большей степени, чем когда-либо раньше, все революции являются мировыми. Это относится в той же степени к редким случаям революции в Европе (таким, как Португальская революция 1974 года, вызванная антиколониальной

борьбой в Анголе и Мозамбике), в какой и к революциям за ее пределами, где участие европейских или североамериканских властей было совершенно очевидно (как в Алжире или Никарагуа). Революция в двадцатом веке — это вопрос глобальной политики: воздействие оказывается как со стороны центра на периферию, так и наоборот.

Представляется, что нет необходимости разбирать это во всех деталях. Связь между революциями в "третьем мире" и европейской или западной революционной традицией очевидна для всех. Запад поставляет революционные условия в форме колониализма и мировой войны. Он также поставляет революционную теорию. Чем в конце концов является марксизм, легитимирующая идеология такого множества революций в "третьем мире", как не западным изобретением? Как насчет империализма, демократии, самой революции? Это ли не западные продукты, которыми оснащена революционная борьба в "третьем мире" как в виде понятий, так и в виде практики? Большая часть революций в "третьем мире" возглавлялась интеллектуалами, получившими западное образование — назовем Мао, Хо Ши Мина, Кастро. Европейская революционная традиция дала им ту призму категорий, сквозь которую они рассматривали свои революции, даже когда им приходилось заниматься вполне неортодоксальными интерпретациями (такого рода урок преподавал уже Ленин). Когда Кваме Нкрума восклицал "прежде ищите царства политического, а все остальное вам приложится", или когда Ахмед Сукарно сознавался в "одержимости романтикой революции", то оба они выражали этим наследие европейского революционизма.

Для многих революционеров "третьего мира" модели революции, заданные классической европейской традицией, оставались, в отличие от случая с самой Европой, весьма актуальными. В своей речи на суде после неудачного штурма казармы Монкада в 1953 году Фидель Кастро, оправдывая свои действия, пересмотрел весь европейский революционный опыт<sup>21</sup>. Французская и Русская революции как в теории, так и на практике оставались ведущими моделями для стран, которые стремились к национальной независимости и установлению современных (модерных) политических и экономических институтов.

Тем не менее, как и в случае с Европой двадцатого столетия, здесь также наблюдался некоторый отход от указанных моделей и от того, что они могли означать в теории и на практике. Причины во

многим те же самые: эти модели не отличались достаточно глубоким проникновением в структуры эксплуатации и угнетения. Если это верно в отношении европейских обществ, то это тем более верно в отношении обществ "третьего мира", подверженных правлению извне.

Однако, сопротивляясь европейским моделям революции, революционеры "третьего мира" не сопротивлялись европейской мысли в целом. Они занимались таким же исправлением и реинтерпретацией, попытки которых предпринимали их западные коллеги. Обращаясь к Гегелю, Ницше, Фрейдю и Марксу, революционеры "третьего мира" видели в них влиятельные фигуры в деле переформулирования революционного проекта на Западе. Так было, в частности, с Францем Фаноном, наиболее важным из теоретиков революции "третьего мира" за последний период.

Фанон, получивший образование во Франции психиатр, сторонник Алжирской революции, отказался от большинства понятий классического европейского революционизма — понятий классовой борьбы, руководящей роли пролетариата, революционной партии, возглавляемой интеллигенцией. Как бы хороши они ни были для Европы, ситуация в "третьем мире" была другой и требовала нового подхода. Революционерам в колониях и бывших колониях приходилось бороться как с ситуацией в своей стране, так и против европейского правления. Положение в этих странах отчасти определялось ими самими. В результате колониального правления у местного населения был развит колониалистский и расистский менталитет, и до момента освобождения от него национальная революция может означать лишь продление зависимости. От травм и неврозов, ненависти к себе и самоотчуждения, вызванных колониализмом, можно было избавиться только посредством насилия. "Насилие, — говорил Фанон, — это очищающая сила." Посредством коллективного насилия колонизированное население обрело бы себя, посредством насилия оно ликвидировало бы наследие колониализма не только в его политическом и экономическом, но и, что более важно, в его психологическом проявлении. В своем предисловии к "Жалким мира сего" Фанона Жан Поль Сартр писал: "Местный житель исцеляет себя от колониального невроза, вышвыривая поселенца при помощи оружия. Когда его ярость перекипит, он вновь обретает потерянную невинность и начинает узнавать себя... Застрелить европейца — значит убить двух зайцев одним вы-

стрелом, уничтожить угнетателя и угнетаемого одновременно: остается один мертвый и один свободный..."<sup>22</sup>.

В Фаноне, как говорил Сартр, сам оказавший на него ключевое влияние, "'третий мир' нашел себя и заговорил с собой". Но здесь возникает парадокс. Фанон писал по-французски, пользуясь страстным риторическим стилем стопроцентного французского интеллектуала. Его работы во многом опирались на творчество Лукача и Сартра, Маркса и Фрейда — тех самых мыслителей, которые в то время владели умами западных радикалов. Кроме того, Фанона, разработавшего влиятельную теорию революции в "третьем мире", всегда лучше знали в Европе и Северной Америке, чем в самом "третьем мире". При этом его влияние не ограничивалось западными интеллектуалами. "Любой из наших братьев по крыше может цитировать Фанона", — подчеркивалось во время чикагских беспорядков 1967 года. "Жалкие мира сего" были почитаемым текстом американского движения "черные пантеры"<sup>23</sup>. Как и другие революционеры "третьего мира" (например, Мао и Че Гевара) Фанон обрел себя, оказавшись инкорпорированным в ту самую революционную традицию, от которой он хотел себя освободить.

Существует еще одна проблема. Несмотря на несомненный престиж Фанона среди интеллектуалов "третьего мира", разрабатывавшийся им вариант революции никогда не соответствовал реальным революционным событиям — даже в Алжире, где Фанон сам участвовал в борьбе. Он возлагал свои надежды на беднейших и наиболее маргинализованных крестьян как на группы, которым в наименьшей степени свойствен колониалистский менталитет. Несомненно, Фанон был прав, не признавая революционный потенциал за городским пролетариатом. Но революции в "третьем мире" не возглавлялись крестьянством. Во всех случаях руководство осуществлялось вестернизированными интеллектуалами среднего класса; нередко для достижения успеха необходима была также организация ими националистической борьбы (не говоря уже о той роли, которую сыграла мировая война в ослаблении колониальных элит или ее конце). Кроме того, главной опорой революционной борьбы были не самые "жалкие" из крестьянства, а "средние" крестьяне, что и следует из хорошо проверенной теории относительной депривации и социального действия. Фанон выработал яркий миф для революций "третьего мира", но, как

и в случае с современными концепциями революции в западных индустриальных обществах, его связь с практикой остается проблематичной.

Строя свое учение о революции "третьего мира", Фанон отказывается от какой-либо связи с теориями негритюда, "африканского культурного наследия" и сходных идей, распространенных среди его собратьев-радикалов из Африки и Вест-Индии. На его взгляд, это отдавало расизмом, а черный расизм был также не приемлем, как и белый. "Третий мир" будет возрожден не с помощью таких направленных в прошлое "примитивистских" концепций, а обращением к совершенно новому будущему — будущему, которое отвергает не только Европу, но и свое доколониальное прошлое, в любом случае безвозвратно утерянное. "Это вопрос "третьего мира", начинающего новую историю Человека..."<sup>24</sup>. Фанон не высказал ничего определенного о "новом человеке", но он никогда не сомневался в своем намерении быть в некотором смысле социалистом. При всей его антипатии к Европе он оставался в долгу перед европейской социальной мыслью и европейской революционной традицией<sup>25</sup>.

Другие, тем не менее, пытались отрицать универсальность европейских категорий мышления и практики и подчеркивали вместо этого их партикулярность. В некоторых разновидностях теории "третьего мира" революция считалась в такой же степени делом восстановления как и делом созидания. Возможно, подобным образом размышляли русские народники девятнадцатого века. Ленин сурово заклеил такое мышление как "реакционное", но в других вариантах социализма, таких как маоизм, оно становилось все более выраженным. Особенно заметна роль такого мышления в "африканском социализме" таких национальных лидеров, как Сеягор, Туре, Нкрума и Ньерере. Здесь якобы бесклассовое традиционное африканское общество рассматривалось как счастливое наследие, позволяющее построить "общинный" социализм, выражающий, в соответствии с Руссо, волю всего народа, а не какого-либо отдельного класса. Пример не столь давнего отхода от западных моделей в исламском фундаментализме Иранской революции 1979 года еще более значителен. Этот пример оказался заразительным. В настоящее время, вфоятно, большинство революционных движений выступает под знаменем исламского фундаментализма, нежели под знаменем другой идеологии.

Предпринимались попытки отрицать значение некоторых из этих незападных случаев в качестве аутентичных примеров революции. Утверждалось, что революция как теория и практика исторически связана с попыткой установления новой власти — власти свободы и равенства. Высказывание Кондорсе, относящееся к Французской революции: "слово 'революционный' относится только к тем революциям, целью которых является свобода", — с некоторыми модификациями применялось к революции вообще<sup>26</sup>. С этой точки зрения, не только "революции правых", подобные нацистской, но и революции религиозные, такие, как Иранская, не имеют права называться революциями. Такого рода злоупотребления понятием слишком серьезны, чтобы расценивать их как каприз демагогической риторики.

Для такого типа определения революции могут быть найдены веские основания. Несомненно, в революционной традиции Запада существует преемственность идей и стремлений, поддерживающая единую точку зрения на революционный проект. Либеральная и марксистская разновидности революции имеют общие истоки. И та, и другая суть наследники европейского Просвещения, различным образом направленные на реализацию его идеалов. Следовательно, движения, которые осознанно отворачиваются от этих идеалов — идеалов разума, свободы, равенства — не могут быть названы революционными. Это то, что в любом случае представляется верным.

Но ни одна часть света не может постоянно предъявлять исключительные авторские права на политический или этический словарь человечества. Христианство обнаружило это очень рано; позднее и так же болезненно к этому пришли марксизм и демократия. Революционизм — явно западный принцип, рожденный западной практикой. Однако наряду с индустриализмом и другими западными идеями и институтами его свободно экспортировали в незападный мир, который интерпретировал его так, как считал нужным. Мы не можем не согласиться с этим, как не можем не согласиться с существованием Большого Каньона.

Если бы Запад в нынешнем столетии обладал большим опытом революции, то можно было бы настаивать на более строгом использовании терминов, указывая на доминирующую и определяющую традицию революции согласно западной модели. Однако революции двадцатого века происходили большей частью не на Западе, а в

"третьем мире". Отсутствие соответствующего опыта, который мог бы служить предметом для размышления о революции в индустриальных обществах двадцатого века, означает то, что мы вынуждены признать возможность резких расхождений революций нашего времени с нормами, установленными революционизмом девятнадцатого века вплоть до Русской революции. Эти расхождения могут иногда принимать странные, экзотические формы. Одним из примеров тому является нацистская революция; другим примером может быть революция Иранская. Утверждалось, например, что недавние латиноамериканские революции, такие, как кубинская и никарагуанская, при отсутствии у них массовой крестьянской базы и при опоре на партизанские кадры — новый тип "социального бандитизма" — представляют собой разновидность революции, отличную от всех революций прошлого. Со времен реставрации Мэйдзи 1868 года известно и такое понятие, как "революция сверху" — революция, возглавляемая главным образом военными. Среди ее примеров — Турция в 1922, Египет в 1952, Северный Йемен в 1962, Перу в 1968, Португалия в 1974 годах. Восстания в коммунистическом мире — в Восточной Германии в 1953, Венгрии в 1956, Польше в 1980 — также представляются феноменами, требующими анализа. И до сих пор еще никто до конца не знает, как быть с Маем 1968 года.

Перед лицом такого концептуального изобилия здравомыслящие ученые могут почувствовать необходимость полностью отказаться от понятия революции, по крайней мере, в отношении к ее современным формам. Признаки такой реакции, несомненно, существуют. Но, хотя разнообразие революций в современном мире невозможно не признать, мы не должны соглашаться с необходимостью или существованием произвола. Между европейскими революциями и революциями "третьего мира" — даже теми, что стремятся обращаться прежде всего к незападным традициям — существует, по крайней мере, "фамильное сходство". Это не самое незначительное из тех последствий, что порождаются вестернизирующими идеологиями и институтами, распространенными по всему миру. За возможным исключением Иранской революции, хотя даже в этом случае раздавались сильные голоса в поддержку ее "современности", отпечаток западного революционизма может быть обнаружен практически в каждом случае революции в "третьем мире". "Африканский социализм", "Исламский со-

циализм" или "Южно-йеменский марксизм" самими названиями выдают свое родство с западной революционной мыслью. Существует также обратный, но в равной степени существенный момент: введение революционных идей и примеров "третьего мира" — Мао и Китая. Че Гевары и Кубы — в русло западных концепций. Какого-либо стройного синтеза из этого до сих пор не получилось, но это указывает на степень пересечения и конвергенции, составляющих сложную картину революции в наше время.

В одном мы все же можем быть вполне уверенными: чем больше мы отдаляемся во времени и пространстве от Великой Французской революции 1789 года, во многом все еще остающейся "модельной", тем меньше следует ожидать, что революция будет похожа на нее. Кропоткин вне всяких сомнений был прав, утверждая, что "какая бы нация не встала на путь революции в наши дни, она будет наследником всего, что наши предки сделали во Франции"<sup>27</sup>. Вклад Французской революции в идеологию революционизма в Европе и в остальном мире является несомненным и неопровержимым. Но Кропоткин не застал огромной волны революций в "третьем мире", которая прокатилась по миру особенно после 1945 года. После нее не только Французская, но и Русская революция стали рассматриваться как далекие и бесполезные модели. Они, бесспорно, оставались великим источником эмоционального вдохновения, что в революции всегда очень важно, но как образцы для подражания они превратились в опасный анахронизм.

Это дистанцирование от европейских моделей революции повлияло не только на то, как "третий мир" относится к Западу, но и во все большей степени определяло отношение западных радикалов к "третьему миру". Более или менее само собой разумеющимся считалось то, что западные радикалы активно поддерживали революции в "третьем мире" — тем более, что у них не было ничего своего, что можно было поддерживать. Мао, Хо Ши Мин, Кастро, даже Насер и Сукарно были в разное время предметами восхищения, иногда граничащего с поклонением. Позже, однако, увлечение западных радикалов революционными движениями "третьего мира" стало менее однозначным. Никарагуанские сандинисты представляют собой относительно небольшую проблему, так же как и социалистическое партизанское движение в соседнем Сальвадоре. Но что сказать насчет исламского



движения Хезболла в Ливане или афганских моджахедов, Революционного Совета Эфиопии или, если на то пошло, Национального Фронта Освобождения Эритреи? Как быть в отношении Хамаса, исламистского крыла Организации Освобождения Палестины? Поскольку критически пересматриваются даже образы более ранних героев, таких, как Мао и Кастро, то можно сказать, что значительную часть западной радикальной интеллигенции охватило определенное разочарование революциями в "третьем мире". Исход многих из этих революций — в частности, иранской — обусловил их неприемлемость в качестве моделей для других обществ "третьего мира". В то же время, они утратили свою способность — сколь бы странно это в некоторых случаях ни было — вызывать революционные настроения в индустриальных обществах. При отсутствии революционных инициатив в последних на протяжении значительной части нынешнего столетия и ощущении, что их население потеряло всякий интерес к революции, может показаться, что революционный проект на Западе истощился как никогда с тех пор, как он был запущен в мир в 1789 году.

### *1989: Возрождение революции?*

Изменили ли эту ситуацию революции 1989 года в Восточной и Центральной Европе? Означают ли они возрождение в Европе революционной идеи? Некоторые, несомненно, были готовы рассматривать их в таком свете. Если вкус к революции утрачен на Западе, впадшем в апатию изобилия и развившем инерцию "постмодерна", то на Востоке она еще казалась способной пробуждать народный пыл. Революции 1989 года, говорит Фред Холлидэй, "вновь в драматической форме заявили о самой забытой стороне политической жизни,., а именно о способности массы населения предпринимать новое внезапное, быстрое политическое действие после долгого периода кажущегося безразличия"<sup>28</sup>. Массовое действие является тем феноменом, который поражает и Юргена Хабермаса, проводящего прямую параллель с 1789 годом: "На аппараты государственной безопасности был направлен массовый гнев, подобный тому, что некогда был направлен на Бастилию. Разрушение монополии Партии на государственную власть может рассматриваться как нечто сходное с казнью Людовика XVI"<sup>29</sup>.

Однако, для этих мыслителей ссылка на революционное наследие 1789 года вызвана не только формой, но и содержанием изменений, привнесенных рассматриваемыми событиями. Русская революция 1917 года, по очевидным причинам не могли служить примером для революций 1989 года; по мнению Франсуа Фюре, тем, что вдохнуло жизнь в революции 1989 года, были "универсальные принципы 1789 года". "Большевики считали, что в 1917 году они похоронили год 1789. Сейчас, в конце нынешнего столетия, мы видим, что произошло обратное. Именно 1917 год был похоронен во имя 1789"<sup>30</sup>. Темы 1989 года — это великие темы года 1789: свобода, демократия, гражданское общество, государственность.

Несомненно то, что участники революций 1989 года — по крайней мере, те из них, кто мыслил исторически, — осознавали европейскую революционную традицию. Для молодого словацкого историка Евы Ковальской события 1989 года были "кульминацией медленной и продолжительной "общей революции" западного мира — процесса, который экономически и политически начался с Английской и Французской революций и который с потрясениями в Центральной Европе подходил к концу в духовном и национальном смысле"<sup>31</sup>.

Бронислав Геремек, один из ведущих теоретиков польской "Солидарности", любит цитировать Токвиля и предлагает рассматривать "Старый режим и революцию" как лучшее руководство к анализу причин и воодушевляющей идеи революций 1989 года<sup>32</sup>. Снова и снова до, в течение и после 1989 года восточноевропейские интеллектуалы отдавали должное Французской революции как провозвестнику их надежд и стремлений. Для многих интеллектуалов заявление о том, что эти революции представляли "возврат к Европе", означало именно возвращение утерянного революционного наследия<sup>33</sup>.

В то же время вспоминается замечание Евы Ковальской, определяющей 1989 год как год окончания *долгой Европейской революции*. Подобные комментарии делались неоднократно. Наблюдатели были поражены ориентации революций 1989 года на прошлое, отсутствием в них элементов, могущих служить провозвестниками чего-либо нового. Хабермас называет эти революции "очистительными", стремящимися что-то вновь обрести или восстановить, а не провозгласить новые принципы государственного и общественного устройства. Революции 1989 года не хотели большего, нежели "конституционно соединиться с

наследием буржуазных революций..."<sup>34</sup>. Если, как однажды выразилась Анна Аренд, революции отличаются "пафосом новизны", то в таком случае революции 1989 года являются самыми неревOLUTIONными. Повернувшись спиной к новому, не желая большего, нежели "вернуться к своей истории" и догнать процесс западного конституционного и коммерческого развития, они, похоже, стремятся воскресить старый досовременный смысл революции как возврата или реставрации<sup>35</sup>.

Своеобразие революций 1989 года проявляется и в другом. В отличие от большинства более ранних революций "народ", несмотря на видимость, играл в них относительно небольшую роль. Действительно, в Восточной и Центральной Европе было много смелых диссидентов; "Солидарность", движение польских рабочих, прорвавшееся к власти летом 1989 года, обладало мощным влиянием; массовые демонстрации и определенные столкновения имели место в Лейпциге, Праге, Будапеште и Бухаресте. Но совершенно ясно, что сами по себе они никогда не определили бы успеха в свержении коммунистических режимов. Представляется, что народные выступления едва ли были предназначены для этого. Когда попытки подобного рода предпринимались раньше — в 1953, 1956, 1968 и 1980 годах — появления или угрозы появления советских танков было достаточно для их подавления. Народные протесты против советской твердыни оказывались тщетными, что и было признано "Солидарностью". В 1989 году случилось непредвиденное. Михаил Горбачев ясно дал понять, что советских войск в распоряжении коммунистических правителей Восточной Европы не будет. Более того, советское влияние помогло подорвать власть и авторитет старых сторонников жесткого курса в высших эшелонах власти: Хонеккера, Кадара, Гусака, Живкова, Чаушеску. Лишенные советской поддержки, их режимы падали один за другим. Обычно это происходило вследствие интриг определенной части самих коммунистических партий, людей, ориентированных на реформы и ободренных советским содействием. Поэтому революции 1989 года, несмотря на их несомненное значение, все больше оказываются похожими на фронду или дворцовые перевороты<sup>36</sup>.

В этом смысле они, конечно же, не были первыми. Почти все революции (Французская и Русская не в меньшей степени, чем всякая другая, менее значимая) начинаются с раскола внутри правящего класса или правящей элиты. Необычным аспектом революций 1989

года была высокая степень контроля, осуществляемого правящими номенклатурами на протяжении всего периода перехода к демократии и рыночному обществу. За исключением Румынии было удивительно мало насилия, и даже в Румынии насилие в значительной степени было умышленно спровоцировано диссидентскими элементами правящей группы. Именно это в сочетании с хорошо известным фактом — сохранением старыми членами номенклатуры их высоких позиций в рамках нового рыночного распределения — заставляет некоторых людей сомневаться, может ли то, что произошло в 1989 году, быть названо революцией.

Эти споры об определениях любого способны отпугнуть от дискуссий о революции. Сейчас не место включаться в них, по крайней мере в формальном отношении. Главный вопрос заключается не в том, насколько события 1989 года соответствуют общепринятым представлениям о революции, а в том, что они могут сказать нам о ее будущем. Допуская, что значимость и темп изменений в Восточной и Центральной Европе, сопоставимые с внезапным и стремительным концом античного режима, вполне оправдывают эпитет "революционный", означают ли они возрождение революции в Европе после почти ста лет спокойствия? Встанет ли революция в настоящее время вновь в повестку дня передовых индустриальных обществ? Или 1989 год лишь подтверждает "чувство конца", ощущение, что он просто завершил некое незаконченное дело, вернув на путь модернизации, выбранный большинством других индустриальных обществ, ту часть Европы, которая, к несчастью, от него отклонилась? Если это так, то последнее свидетельствует о том, что в той степени, в какой общества Центральной и Восточной Европы развивают демократические институты и достигают приемлемого уровня жизни для большей части своего населения, они оказываются в состоянии (наподобие состоятельного Запада) относительно обезопасить себя от революции.

"Относительно" является здесь решающим словом. Революции 1989 года, по крайней мере, напомнили нам об одной вещи: ни одно общество — ни в большей степени развитое, ни в меньшей — не обладает иммунитетом против революции. Ни одно из них не может сбросить со счетов революцию как способ трансформации общества — в настоящее время или в будущем. В 1989 году наблюдатели и участники в равной степени были захвачены врасплох темпом собы-

тий и тем фактом, казавшимся невероятным до самого конца, что фундаментальное изменение возможно. Революции всегда отличались способностью к сюрпризам — вспоминается знаменитое замечание Ленина, сделанное в 1917 году, всего лишь за месяц до свержения царского режима, что "мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции"<sup>37</sup>. Революция как идея и как практика глубоко свойственна современным обществам. Неважно, как долго она отсутствует, неважно, насколько ничего не обещающими являются обстоятельства того или иного времени, — она сохраняет способность приводить общество в состояние конвульсий. И, как и в прошлом, она может произойти тогда, когда ее меньше всего ожидают как ее враги, так и ее друзья.

Сказанное не означает, что социальные и исторические изменения не повлияли на идею революции. Фактическое отсутствие революции на Западе в двадцатом веке является ясным подтверждением того факта, что условия, которые сделали ее относительно распространенным явлением в девятнадцатом столетии, больше не существуют или существуют в значительно видоизмененной форме. Революция возможна и сейчас, и в будущем; она просто стала менее вероятной, по крайней мере в ее привычных формах. Результатом явилась та инфляция понятий, на которую мы обратили внимание. Революция как понятие достигла точки взрыва, наполнившись проектами человеческого освобождения в гигантском масштабе. Обновление мыслится не только по отношению к внешним, но и к внутренним формам жизни: человеческие инстинкты должны быть перенаправлены и освобождены от подавления; менталитет зависимости и неполноценности должен быть трансформирован в менталитет самоуважения и бесстрашия перед лицом будущего. Трансформация должна быть полной или она не будет ничем, представляя собой лишь замену одной формы тирании на другую.

Понятие революции достигло своего рода теоретической завершенности и закрытости. Оно охватывает теперь все аспекты состояния человечества и человека от политики до психоанализа, включая заодно экономику и культуру. Наряду с политикой социальной системы она включает в себя "политику нервной системы". Ценой этого теоретического переосмысления стало перемещение революции из области политического действия в сферу метафизики. Вот что на самом деле

предполагается всеми разговорами о "конце революции". Понятие революции больше не относится к изменению социального порядка в каком-либо определенном месте и в какое-либо определенное время посредством осознанного человеческого действия. Она отделена от истории и "универсализована". Революция происходит в не относящемся к определенному времени настоящем. Она теперь символизирует вечный протест против угнетения и несвободы как таковых, как более или менее постоянных черт человеческого состояния.

Вернемся к Камю, с которого мы начинали. По Камю, приговор революции выносит ее конец — убийства, утверждение новых форм тирании. Камю противопоставляет революции акт "метафизического бунта": "Он является метафизическим, поскольку оспаривает цели человека и цели созидания... Метафизический бунтовщик протестует против человеческого положения в целом"<sup>38</sup>. Подобно многим современным теоретикам революции, Камю следует традиции мысли, которая начинается с де Сада и продолжается Бодлером, Штирнером, Ницше, Лотреамоном и сюрреалистами (все они — объекты поклонения революционеров Мая 1968 года). Революция как историческое изобретение, давшее начало специфической традиции в теории и на практике, оканчивается бунтом, метафизикой протеста против мелких несправедливостей и лицемерия социального бытия. Экзистенциальный бунт, несомненно, существует, но он скорее идет бок о бок с революцией, чем заменяет ее. Если он действительно подменил собой революцию, то мы можем считать, что последняя утратила всякое утилитарное значение или перестала быть программой действия в каком-либо практическом смысле.

Еще рано говорить о том, изменили ли фундаментальным образом рассматриваемую ситуацию, столь очевидную на Западе, революции 1989 года на Востоке Европы. Последствия этих революций все еще неясны, смена направления общественного движения в обратную сторону отнюдь не исключена. Даже формы этих революций являются, как мы отметили, неопределенными, имеющими черты как классического образца народной революции, так и более знакомого типа дворцового переворота. Но кое-что уже достаточно ясно для того, чтобы представить некоторый осторожный прогноз. Стоит наступить неизбежному разочарованию в демократии и рынке, как жители Восточной Европы, вероятно, так же, как и их западные собратья, отвер-

нутя от идеи революции — может быть даже, как это все больше представляется в случае с Западом, и от политики в целом. В Восточной Европе интеллектуальная традиция "метафизического бунта", рожденная столетиями автократии и империи, пожалуй, даже сильнее, чем на более прагматическом Западе. С другой стороны, существует традиция бесстрастной иронии и политической пассивности, поддерживаемая опытом жизни при коммунистическом правлении. Если обе эти традиции вновь заявят о себе, то на Востоке места для революции будет, как представляется, не больше, чем на Западе.

Но, повторим, останавливаться на таком заключении было бы неразумно. Конец революции неоднократно провозглашался в этом столетии — в 1930-е, 1950-е и 1980-е годы. И каждый раз нас ожидал какой-нибудь сюрприз. Нас подстерегают новые неожиданности — в этом мы можем быть уверены.

#### Примечания:

- <sup>1</sup> Замечание Ричарда Кобба из выступления 21 июля 1981 года было процитировано в *Times Literary Supplement*, 7 August 1981, p.919.
- <sup>2</sup> Lowenthal, R. 'The "Missing Revolution" of Our Times: Reflections on New Post-Mammoth Jamboree', June, 1981, p.18
- <sup>3</sup> Camus, A. 'Neither Victim nor Executioner', in КшпагД. (ed.) *Revolution: The Theory and Practice of a European Idea*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1971, pp.302-303
- <sup>4</sup> Цит. по: Neumann, S. 'The International Civil War', in *World Politics*, 1, 1949, p.334, note 2.
- <sup>5</sup> *Ibid.*
- <sup>6</sup> О Русской революции 1917 года как модели для революций в "третьем мире" см.: Laue, T. H. von *Why Lenin? Why Stalin? A Reappraisal of the Russian Revolution, 1900-1930*, 2nd ed., Philadelphia, J.B. Lippincott Company, 1971.
- <sup>7</sup> Engels, F. 'Introduction' to Karl Marx's 'The Class Struggles in France 1848-1950', in Marx, K., Engels, F. *Selected Works in Two Volumes*, Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1962, Vol. 1, pp. 118-138
- <sup>8</sup> Цит. по: Debray, R. *Revolution in the Revolution?* Harmondsworth, Penguin Books, 1968, p.67.
- <sup>9</sup> /Ы., p.24
- <sup>10</sup> См., например: Hermassi, E. 'Toward a Comparative Study of Revolution', in *Comparative Studies in Society and History*, 18, 1976, pp.211-235.
- <sup>11</sup> См. об этом подробнее в моей статье 'Twentieth Century Revolutions in Historical Perspective', in Kumar, K. *The Rise of Modern Society: Aspects of*

- the Social and Political Development of the West*, Oxford, Basil Blackwell, 1988, pp. 177-183.
- <sup>12</sup> Marx, K. 'Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right', in Bottomore, T. B. (trans. and ed.) *Karl Marx: Early Writings*, London, C. A. Watts and Co., 1953, p. 55
- <sup>13</sup> Цит. по: Behrens, C. B. A. 'The Spirit of the Terror', in *New York Review of Boob*, 27 February 1969.
- <sup>14</sup> См., в частности: Trotsky, L. *The Revolution Betrayed*, London, New Park Publications, 1967, pp. 86-114.
- <sup>15</sup> Huxley, O. 'Foreword' to *Brave New World*, Harmondsworth, Penguin Books, 1964, p. 10
- <sup>16</sup> Наиболее важной работой Герберта Маркузе в этом отношении является *Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud*, New York: Vintage Books, 1962.
- <sup>17</sup> См.: Marcuse, H. *An Essay on Liberation*, London, Allen Lane The Penguin Press, 1969.
- <sup>18</sup> Vanegem, R. *The Revolution of Everyday Life*, London, Practical Paradise Publications, 1973, p. 11
- <sup>19</sup> Kolakowski, L. *New Statement*, 27 July 1973, p. 119
- <sup>20</sup> Halliday, F. 'Revolution in the Third World: 1945 and After', in Rice, E. E. (ed), *Revolution and Counter-Revolution*, Oxford, Basil Blackwell, 1991, p. 136
- <sup>21</sup> Castro, F. *History Will Absolve Me*, London, Jonathan Cape, 1968, pp. 95ff.
- <sup>22</sup> Sartre, J.-P. 'Preface' to Fanon, F. *The Wretched of the Earth*, Harmondsworth, Penguin Books, 1967, pp. 18-19
- <sup>23</sup> См.: Caute, D., *Fanon*, London, Fontana, 1970, p. 94.
- <sup>24</sup> Fanon, F. *The Wretched of the Earth*, p. 254
- <sup>25</sup> Caute, D. *Op. cit.*, p. 97
- <sup>26</sup> Condorcet, Marquis de, 'Sur Le Sens Du Mot Revolutionnaire', in Kumar, K. (ed.) *Revolution*, p. 93
- <sup>27</sup> Kropotkin, P. *The Great French Revolution 1789-1793*, London, William Heinemann, 1909, p. 582
- <sup>28</sup> Halliday, F. 'The Ends of the Cold War', in *New Left Review*, 180, (1990), 5
- <sup>29</sup> Habermas, J. 'What Does Socialism Mean Today? The Revolutions of Recuperation and the Need for New Thinking', in Blackburn, R. (ed.) *After the Fall: The Failure of Communism and the Future of Socialism*, London, Verso, 1991, p. 27
- <sup>30</sup> Furet, F. 'From 1789 to 1917 to 1989: Looking Backward at Revolutionary Traditions', in *Encounter*, September, 1990, p. 5
- <sup>31</sup> Цит. по: Darnton, R. 'Runes of the New Revolutions', in *The Times Higher Education Supplement*, September 6, 1991, p. 17.
- <sup>32</sup> Geremek, B. 'Between Hope and Despair', in *Daedalus*, Winter, 1990, p. 99
- <sup>33</sup> См. мою статью 'The 1989 Revolutions and the Idea of Europe', in *Political Studies*, 40, 1992, pp. 439-461.



- <sup>34</sup> Habermas, J. *Op. cit.*, p.26
- <sup>35</sup> См.: Arendt, H. *On Revolution*, London, Faber and Faber, 1963, pp.21-40,
- <sup>36</sup> См. об этом в моих работах 'The Revolutions of 1989: Socialism, Capitalism, and Democracy', in *Theory and Society*, 21. 1992, pp.309-356 и 'The Revolutions of 1989 in East-Central Europe and the Idea of Revolution', in Kilminster, R., Varcoe, J. (eds) *Culture, Modernity and Revolution*, London, Routledge, 1996, pp. 127-153.
- <sup>37</sup> Lenin, V.I. 'Lecture on the 1905 Revolution', in *Selected Works in Three Volumes*, Moscow, Foreign Languages Publishing House, n.d., Vol.1, p.842 (Поли. собр. соч. — Т.30. — С.328).
- <sup>38</sup> Camus, A. *The Rebel*, Harmondsworth, Penguin Books, 1962, p.29